



SHOUT **IT**
SHARE



Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [Е. А. Соловьев](#)

- ☐
- ☐ [Вместо предисловия](#)
- ☐ [Глава I. Детство, отрочество и юность Бокля](#)
- ☐ [Глава II. Пятнадцать лет в библиотеке](#)
- ☐ [Глава III. «История цивилизации в Англии»](#)
- ☐ [Глава IV. Бокль в обществе](#)
- ☐ [Глава V. Последний год жизни](#)
- ☐ [Заключение](#)
- ☐ [Источники](#)

- [notes](#)

- ☐ [1](#)
- ☐ [2](#)
- ☐ [3](#)
- ☐ [4](#)
- ☐ [5](#)
- ☐ [6](#)
- ☐ [7](#)
- ☐ [8](#)
- ☐ [9](#)

Е. А. Соловьев
Генри Томас Бокль. Его жизнь и
научная деятельность

*Биографический очерк Е. А.
Соловьева
С портретом Г. Т. Бокля,
гравированным в Лейпциге Геданом*



Вместо предисловия

Бокль жил в эпоху, богатую могучими дарованиями. В те годы, когда создавалась «История цивилизации в Англии», в области естествознания работали Дарвин, Лайель, Гексли; в области философии – Милль, Бэн, Спенсер; истории – Маколей, Карлейль. Он был современником Конта и Гельмгольца, и все же, как ни велики люди, окружавшие его, его имя смело можно поставить рядом с их именами, его труд найдет себе место возле «Положительной философии», «Основных начал», «Логики». И виновато в этом не только достоинство «Истории цивилизации», но и сам дух, которым проникнуто сочинение.

Лишь на первый взгляд «Геология» Лайеля, «Происхождение видов» Дарвина и книга Бокля не имеют между собой ничего общего. Здесь рассказывается об образовании земной коры, там – о переходе одной разновидности животного мира в другую, Бокль стремится формулировать законы истории. Но различие предметов так же скоро бросается в глаза, как и единство духа, настроения, мысли, создавших и новую эру в изучении природы, и новую эру в изучении человека и его истории.

Из всех европейских стран, не исключая России, Англия наиболее энергично пережила тот период, который может быть назван периодом торжествующего естествознания. Не особенно продолжительный (20–25 лет), он оказался, однако, наиболее плодотворным в умственной жизни XIX столетия. Естествознание, его приемы, методы, его воззрения на природу и человека вторглись во все области знания, пересоздали философию и психологию, учения о нравственности и об общественном строе. Бокль, Милль, Спенсер смело могут быть названы «естествоиспытателями» человека и его духовной жизни.

Разумеется, эпоха торжествующего естествознания наступила не сразу. Она подготавливалась, и притом очень долго, разрозненными усилиями десятков и сотен людей. Бэкон и Декарт, Лаплас и Лавуазье, Кювье и Биша – ее духовные отцы, деды и прадеды. Изучая природу, они постепенно приучали человека к мысли, что в окружающем его мироздании нет ничего случайного, произвольного, что все совершается по известным непреложным законам – безразлично, возьмем ли мы движение планет, или развитие органов какого-нибудь животного, или соединение химических элементов. Но после их трудов оставалась еще крупная и сложная задача – одухотворить той же самой идеей изучение человека и его историю, показать, что и здесь случай и произвол не играют никакой роли, и приступить к

человечеству как к «естественному явлению».

Кажется, нет мысли, которая давалась бы с таким трудом людскому пониманию, как эта. Предрассудки веков и тысячелетий должны были восстать против нее во всеоружии своих седин. Возмущалась гордость человека, возмущалась его слабость, от которой, по-видимому, вместе с иллюзией собственного величия отнималось последнее и самое сильное утешение. Он привык считать себя центром мироздания и чем-то особенным, исключительным, перворазрядным. Видя вокруг себя постоянный процесс смерти и рождения, видя, как равнодушно относится природа к гибели живых существ вообще, как гибнут мириады цветов и насекомых после первого ночного мороза или как безжалостно ломает буря молодые побеги деревьев, он, пораженный ужасом и слушаясь своей гордости, заносил себя в совершенно особую категорию живых существ и, провозгласив свою волю свободной, уничтожил все нити, связывающие его жизнь с жизнью остальной природы.

«Для воды, которая не может не закипеть при 80° тепла, для свечи, которая не может не погаснуть в углекислоте, для дерева, которое не может не расти вверх, – есть свои законы. Для него, для человека, венца создания, нет законов. Он выше их, он вне их. У него – свободная воля, и эта свободная воля поступает по-своему, независимо от обстоятельств, мотивов, расчета, ничему не подчиняясь, не зная себе господина».

Эти мысли заключали в себе неистощимый источник бодрости и душевной энергии. Небольшая, но полная значения фраза «я хочу» стала для человека таинственным, сказочным талисманом, перед которым отворялись все запертые двери. Могущество времени, пространства, обстоятельств исчезали, и стены тюрьмы рушились перед свободной, независимой волей, не подчиненной ни времени, ни пространству, ни обстоятельствам. Ежедневный опыт, опыт действительности, не научал ничему, не изменял ничего. Он только скользил по поверхности человеческой мысли, в глубине которой таилась гордая уверенность в своем всемогуществе.

Расстаться с такими идеями, войти в цепь остальных живых существ, признать над собой полную и безусловную власть климата, пищи, рельефа поверхности, законов истории было слишком мучительным или казалось таким, на первый взгляд по крайней мере. Мысль о свободной воле давала не только утешение, она награждала человека сознанием собственной силы, без чего сама жизнь была бы слишком скучной, утомительной, ничтожной. И, несмотря на разрозненные, хотя и часто раздающиеся голоса деятелей науки, люди крепко, упорно

держались идей, бывших для них источником живой воды. Пускай Коперник доказывает, что планеты движутся с определенной скоростью по известным орбитам, – то планеты; пусть Ньютон дает свой закон тяготения – то закон для тел, для материи; пусть Кювье говорит, что организм животного – точный отпечаток его пищи и обстановки, – то животное. Воля человека сама в себе носит источник деятельности, она определяется сама собой.

XVIII век, в лице Монтескье, Вольтера, энциклопедистов, стал подкапываться под мысли, питавшие человеческую гордость. Он действовал в этом направлении смело, дерзко, подчас грубо, но всегда односторонне. В глазах Кондильяка человек был не больше (!) чем одушевленная статуя; в глазах Монтескье общие причины истории значили ничуть не меньше, чем разум людей, и т. д. Историческая роль таких воззрений заключалась в том, что после них оказалось уже возможным приступить к изучению человека, его прошлого и настоящего, без всяких предвзятых мыслей, совершенно отбросив идею о его обособленности от остальной природы. Девятнадцатое столетие попыталось осуществить эту задачу, и в рассматриваемый нами период (шестидесятые годы) принципы естествознания совершенно подчинили себе изучение человека. Чтобы разъяснить, в чем тут суть, приведу известные слова Дарвина, сказанные по прочтении им трактатов Канта о нравственности: «Я прочел с большим удовольствием „Grundlegung“ Канта. Мне было интересно видеть, как различно думают два человека об одном и том же предмете. Хотя я хорошо знаю, насколько дерзко ставить меня рядом с Кантом, но мне хочется обратить внимание на то, что *Кант, великий философ, наблюдал исключительно свой собственный дух, тогда как я – плохой философ – старался путем наблюдения обезьян и дикарей найти решение того же вопроса*». Ирония, пронизывающая эти строки, очень характерна.

Чем было вызвано это невиданное до той поры торжество естественных наук, объяснить мы не беремся, к тому же такая задача завела бы нас слишком далеко. История умственного движения XIX века разработана так мало, что невозможно пока установить органическую связь между отдельными эпохами. Ограничимся пока тем, что укажем на факт несомненный и очевидный. Был на самом деле период, когда принципы естествознания под формой положительной философии Конта, синтетической философии Спенсера, доктрин Милля, исторических взглядов Бокля, учения Дарвина о нравственности, системы Фейербаха точно какое-нибудь поветрие распространялись из страны в страну.

Наша родина не избежала общеевропейской участи. Почти в то

же время, как Бокль издавал свою «Историю цивилизации», Дарвин подготавливал к печати «Происхождение видов», Спенсер работал над последними главами «Основных начал» («First Principles»), наша журналистика была переполнена статьями о Мошотте и Бюхнере, а естествознанию воспевались красноречивые панегирики. Тогда писали: «Не знаю как другие, а я радуюсь этому увяданию нашей беллетристики и вижу здесь очень хорошие симптомы для будущей судьбы нашего умственного развития». Эта судьба «заключается в изучении природы и в изучении человека как последнего звена длинной цепи органических существ». Нам остается, следовательно, идти по дороге, проложенной европейцами, «ибо мыслящие европейцы собрали и привели в порядок необозримую грудку фактов, относящихся ко всем отраслям естествознания; в настоящее время история и политическая экономия обращаются к изучению природы и постоянно очищаются от примеси тех фраз, гипотез и так называемых законов, которые не имеют для себя основания в видимых и осязаемых свойствах предметов. Умозрительная философия скончалась вместе с Гегелем, и приемы опытных наук проникли и продолжают проникать до сих пор во все отрасли человеческого мышления. Отрешаясь от школьных фантазий, наука в высшем и всеобъемлющем значении этого слова получает, наконец, в мире свое полное право гражданства; она формирует не специального исследователя, а человека; она закаляет ум, она приучает его действовать этим умом во всех обстоятельствах повседневной жизни; она помогает людям, подобным Лопухову, разрешать посредством строгого анализа все запутанные и щекотливые вопросы, которые прежде решались наудачу слепыми движениями чувства; она входит в кровь человека и перерабатывает его темперамент; она создает величайших поэтов – тех людей, у которых живая мысль проникнута насквозь горячей струей чувства, тех людей, которые способны дрожать и плакать от восторга и созерцания великой истины, тех людей, которые дышат одной жизнью с природой и человечеством».

Нечего и говорить, что этот дифирамб науке вырвался из-под пера Д. И. Писарева, самого чуткого и талантливой выразителя настроения своей эпохи. Какую же науку имеет он в виду? Вот его подлинные слова: «Скромное (то есть истинное) изучение началось настоящим образом с прошедшего столетия, с тех пор, как Лавуазье создал химический анализ; когда оно началось, метафизика смотрела на него покровительственным оком. А где теперь метафизика? И кто ее тихим манером отправил в архив? И где теперь та наука, которая не подольщалась к естествознанию и не отчаивалась бы в своем существовании, если естествознание не

оказывает ей покровительства?» (Сочинения, т. III, с. 272–273).

Очевидно, что при таком настроении книга Бокля, где история не только прикоснулась к естествознанию, а прямо оперлась на него, пришлась как раз ко двору в ту, такую близкую и вместе с тем такую далекую эпоху. На самом деле, Уоллес свидетельствует: «...в России Бокль пользуется еще большей славой, чем у себя на родине. Многие считают его величайшим гением эпохи. Мне ни разу не приходилось иметь серьезного разговора с интеллигентными людьми, в котором не упоминалась бы книга Бокля и не делались бы ссылки на него как на безусловный авторитет».

Великая психологическая истина выступает перед нами: дух времени подчиняет и даже порабощает себе умы самого различного склада и самых различных стремлений. Вера в точную науку и во всемогущество отношений и обстоятельств, борьба с теорией свободной воли и признание законосообразности за нравственной и исторической деятельностью человека – вот идеи, которые одинаково проходят красной нитью и через статьи наших журналов 60-х годов, и «Историю цивилизации» Бокля.

Что же дал человечеству этот период торжествующего естествознания в области философии истории? Из дальнейшего повествования мы узнаем ответ на этот вопрос.

Глава I. Детство, отрочество и юность Бокля

Жизнь Бокля лишена всякого внешнего, показного драматизма. В ней нет ни неожиданных происшествий, ни борьбы с обстоятельствами, ни серьезных неудач. Вся она может быть вытянута в одну линию, и проследить ее от начала до конца нетрудно. Одна страсть, одна обстановка, одно настроение, одна книга – таково резюме жизни и деятельности великого английского мыслителя, чье имя было когда-то (лет 25–30 тому назад) таким родным и близким всякому русскому образованному человеку.

Генри Томас Бокль родился 22 ноября 1821 года в местечке Ли графства Кент. Его отец, Томас Генри Бокль, был довольно состоятельным торговцем лондонского Сити, хотя с английской точки зрения его состояние, не превышавшее полумиллиона рублей, представлялось, в сущности, очень скромным. Мать Бокля, мистрис Джен, вышла замуж в очень молодых годах и, кроме сына, будущего автора «Истории цивилизации», произвела на свет еще двух дочерей.

Единственный сын и вероятный преемник отцовского дела, маленький Бокль пользовался в доме завидной полной свободой. Всюду, начиная с чердака и кончая кухней, он был признанным господином и хозяином, и только на комнаты отца и матери не простиралась его власть: туда он не смел войти без спроса, а если и входил, то не имел права предаваться своему излюбленному занятию – переворачивать всё вверх дном. Несмотря на слабый и даже хрупкий организм, он отличался в детстве большой шаловливостью, но и в шаловливости проявлялась уже своеобразная наивная рассудочность его натуры. Обыкновенно, просидев два-три часа за рассматриванием картинок, а впоследствии за чтением своих излюбленных арабских сказок, маленький Бокль вставал с места, потягивался и говорил: «Теперь можно и пошалить». Немедленно начиналось вавилонское столпотворение. Мебель сдвигалась в кучу или переворачивалась ножками вверх, сестры в ужасе убегали к себе в спальню, а юный буян, нарядившись в какой-нибудь фантастический костюм из шали или скатерти, отправлялся на кухню и здесь, полный отваги, вступал в бой с дочерью кухарки или же, в случае особенно благодушного настроения, рассказывал ей только что прочитанную сказку, фигурируя в ней, разумеется, в роли героя. Когда его останавливали, он неизменно отвечал: «Я знаю, что это

нехорошо, но маленькому мальчику все можно». Нашалившись, он шел к матери и, усевшись на скамеечке у ее ног, просил почитать ему из Священного Писания, – просьба, которая всегда исполнялась очень охотно, так как мать его была женщиной в высшей степени религиозной. Боклю не было еще и десяти лет, когда его отдали в школу, – одну из тех бесчисленных частных школ, которые до последнего времени почти исключительно ведали образованием английского юношества. Но подвергать своего сына всей строгости школьной ферулы^[1] отец не хотел и поставил неременным условием, чтобы маленький Бокль учился только тому, чему сам пожелает, а главное – чтобы его никогда не секли и не били. Как ни исключительны были такие условия, – особенно последнее, так как в первой половине нынешнего столетия воспитание без розог представлялось английским педагогам чем-то вроде питания воздухом, – директор школы согласился, и Бокль стал ходить на уроки. Глубоко проникнутый убеждением, что «маленькому мальчику все можно», он шалил и дрался с товарищами и занимался только тогда, когда на него находило настроение. Однако это не мешало ему учиться лучше других. Уже в эти годы проявились его исключительная феноменальная память и быстрая сообразительность. Стоило ему два-три раза услышать латинские или французские стихи, как он уже знал их наизусть, о терминах же географии или истории нечего и говорить, он схватывал их на лету и не забывал уже никогда. Особенно заинтересовался он математикой – не тем, однако, ее отделом, который преподавали ему как маленькому, а курсом старшего класса – именно геометрией. Постоянно видя на доске чертежи и фигуры, он стал вглядываться в них, соображать и однажды просто поразил учителя, задав ему вопрос по поводу одной сложной геометрической теоремы. Когда убедились, что это не случайность, Боклю позволили заниматься математикой со старшими товарищами, что и было для него единственным удовольствием в дни школьной жизни.

В школе он оставался очень недолго. Она тяготила его, ежедневно отнимала целые часы, и он стал думать, как бы поскорее отделаться от нее совсем. Случай не заставил себя ждать. Однажды на публичном испытании Бокль получил первую награду по математике и явился домой в лавровом венке, которым награждались в те времена «преуспевающие». Увидя сына в наряде триумфатора, отец спросил его, чего он хочет, и обещал исполнить любую его просьбу. Бокль отвечал, что он хочет только одного: не ходить более в школу. Отец позволил, и мальчик запрыгал от радости.

В это время ему было всего тринадцать лет. Сведения,

вынесенные им из школы, годились только для того, чтобы поражать ими прислугу, перед которой Бокль очень любил являться во всем блеске своей образованности. Для большего эффекта он, забравшись в кухню, становился обычно на стол и с пафосом читал наизусть отрывки из Вергилия или Овидия, немедленно переводя их, фразу за фразой, на французский язык. Но до систематических сведений мальчику не было решительно никакого дела. Он весь отдался тому занятию, которое впоследствии стало главным и первенствующим в его жизни, – именно чтению. «Тысяча и одна ночь», «Дон Кихот», «Робинзон Крузо», а скоро и Шекспир стали его излюбленными книгами, за которыми он просиживал дни и ночи. «Для юноши от пятнадцати до восемнадцати или двадцати лет, – говорил он впоследствии, – нельзя найти лучшего чтения, чем драмы Шекспира, и не те сокращенные обезображенные драмы, которые издаются *ad usum scholarum* (для школьного употребления), а такие, какими они вышли из-под пера великого поэта. Нечего бояться, что Шекспир труден для понимания юношества. *Он слишком велик, чтобы быть трудным, слишком человек, чтобы быть непонятным*».

Живя в полной независимости и свободе, Бокль чувствовал себя как нельзя лучше. Новая попытка, сделанная его отцом, подвести образование сына под систему не удалась. Отданный на попечение *тьютора*,^[2] какого-то духовного лица, Бокль от непривычной обстановки серьезно захворал, и его пришлось взять обратно домой, где он, окруженный своими книгами и всем, что любил, поправился очень скоро. На всю последующую жизнь сохранил он, очевидно под влиянием личного своего опыта, убеждение, что «*нельзя насиловать наклонностей и влечений ребенка и юноши*», что «*надо, по возможности, предоставлять их самим себе, а не коверкать по программе и не принуждать по системе*». Всякий, говорил он, сам найдет себе дорогу; не беда, если он будет меньше образован, важно, чтобы он был самостоятелен, был самим собой. Годы спустя Бокль часто вступал в усиленный спор со своим другом, мистером Кэплем, из-за того, что тот заставляет слишком много работать своих учеников в то время, когда им надо бегать, играть, резвиться.

Вскоре, будучи шестнадцати– или семнадцатилетним юношей, Бокль пристрастился к чтению газет. Время тогда было горячее. В парламенте, на митингах, в прессе шли ожесточенные, страстные споры о свободной торговле и покровительственных пошлинах. Учредить ли первую, уничтожить ли последние? Классовые интересы, зависть мещан к аристократии, желание лордов сохранить свои привилегии делали из этих вопросов не только злобу дня, но и злобу целой исторической эпохи. На

самом деле речь шла о политическом преобладании того или другого сословия. Для английских лордов, крупных землевладельцев по преимуществу, покровительственные пошлины были в высшей степени выгодны, так как позволяли им не допускать на рынок иностранный хлеб, а свой собственный продавать по произвольной, если можно так выразиться, «приятной» цене. Но громадные выгоды, получаемые ими от установления приятных цен, обуславливали и их несокрушимое политическое могущество – обстоятельство очень неприятное для мещанства, прекрасно понимавшего, что политическое могущество в высокой степени полезно и для торговых предприятий. Отсюда спор, отсюда борьба. Мещане, которые со времен Генриха VIII и Елизаветы подкапывались под аристократию, а однажды увлеклись даже до того, что (в 1649 году) упразднили палату лордов, как люди практичные, повели свою атаку на сундуки аристократии, пополнявшиеся, главным образом, благодаря покровительственным пошлинам. Милорды защищались, как умели, но проницательные люди с первого взгляда видели, что дело их проиграно, что их поражение можно только отсрочить, оттянуть, но, в сущности, оно неизбежно. Ведь мещане вступили в битву во всеоружии не только своих миллионов, нажитых торговыми предприятиями, но и науки – так называемой классической политической экономии Смита, Мальтуса, Милля-старшего, Рикардо, которая требовала свободы соревнования для всех и особенно восставала против классовых привилегий, вторгающихся в экономическую жизнь народа. «Долой привилегии! Долой монополии!» – этими словами Кобден закончил одну из самых блестящих своих речей в защиту свободной торговли. Энергия мещанства, вообще в то время очень значительная, подогревалась еще и следующим соображением: «Раз будут уничтожены покровительственные пошлины, понизится и цена на хлеб, а следовательно, и заработная плата, что поведет к отрадному увеличению барышей от фабрично-заводской промышленности». Читатель понимает, сколько пороку скрывается в этой мысли.

Под влиянием своего отца – убежденного тори – Бокль был на стороне аристократии и против свободной торговли. Для нас, впрочем, интересно не столько мнение семнадцатилетнего юноши, сколько тот живой интерес, который он проявлял к общественному вопросу, представлявшемуся его сверстникам очень сухой материей. Но Бокль увлекался до того, что не спал напролет целые ночи и часто с пылающей головой садился за стол и писал письма Пилю, отсылать которые, однако, не решался по робости. С этой поры газета наряду с книгой стала

необходимостью в его жизни. Вообще же он посвящал чтению все свое время и был так доволен своей судьбой, что не искал и не хотел ничего лучшего.

Отцу, однако, не совсем нравилась жизнь сына, и он решил пристроить его к какому-нибудь делу, так как был уверен, что человек может быть бодр и счастлив, лишь имея какую-нибудь обязанность. Дело оказалось под рукой: конторские занятия, и Бокль-младший волей-неволей был принужден заняться дебетом и кредитом и подводить итоги в толстых грессбухах. Мир цифр и счетов возбуждал его искреннее отвращение. Заинтересоваться делом он не сумел, не захотел и исполнял его чисто механически, хотя и аккуратно. «Бедный Генри так мучился все это время!» – вспоминала впоследствии его мать, но против воли отца идти не решалась.

Впрочем, справедливо замечено, что умный человек извлекает известную долю пользы даже из общения с глупыми людьми и из занятий неумным делом. Так в данном случае вышло и с Боклем. Как ни тяжело было ему ходить каждое утро в контору и просиживать там целые часы, щелкая на счетах в атмосфере, пропитанной табачным дымом и отрывочными деловыми разговорами на профессиональном жаргоне, он, по его собственным словам, «приучался постепенно к той безусловной точности и аккуратности», которые так необходимы как в большом, так и в маленьком деле. Та же контора сближала его с действительностью, самой грубой и узкой, показывая ему такие стороны жизни, какие он никогда бы не узнал, сидя в своей библиотеке. «Практичность и близкое знакомство с окружающим миром, – говорит он сам, – не менее полезны для гения, чем и для обыкновенного смертного». Он хвалил Милля за то, что тот никогда не предавался утопиям и иллюзиям, и трезвость его мысли приписывал отчасти долгим занятиям на службе в Ост-Индской компании. Разумеется, он не мог понять Огюста Конта, который «довел свою непредусмотрительность» до того, что на вершине европейской славы принужден был жить исключительно на подачки своих богатых английских почитателей, то и дело обращаясь к Миллю с просьбами о деньгах. Расчетливый и сдержанный от природы, Бокль укрепил в себе эти качества конторскими занятиями.

Тем не менее, он бросил «дело» при первой же возможности, чтобы отдался, и уже навсегда, тому, что в глазах людей, плохо знавших его, было бездельем обеспеченного и независимого человека. В январе 1840 года умер его отец. Последними его словами, обращенными к сыну, были: «Люби свою мать». В этих словах умирающего старика выразилась вся его горячая

привязанность к жене и искреннее забвение страданий долгой совместной жизни...

На самом деле в семье Бокля-старшего в течение многих лет разыгрывалась драма, о которой до нас донеслись лишь смутные, неполные сведения. Эта драма – чисто английская, и едва ли можно найти много подобных ей примеров из жизни континента. Отец Бокля был самым искренним и убежденным приверженцем англиканской государственной церкви, «верховноцерковником», мать – не менее искренней и убежденной кальвинисткой. Веселая и добродушная, она, однако, держалась самой мрачной религии из существующих на земле. Несмотря на счастливую обстановку, любовь к детям, привязанность мужа, она то и дело ощущала в душе тот таинственный трепет и ужас, которые суровый Кальвин умел вселить на целые века в суеверные души своих последователей. Фанатик, радостно и самоуверенно фигурировавший в роли палача одного из благороднейших представителей свободной человеческой мысли, Кальвин не мог себе представить и самое божество иначе, как в виде грозного карающего судьи и безжалостного инквизитора. Он мыслил его постоянно гневным, наслаждающимся самоуничтожением творений своих существом, для которого их жертвы и аскетизм составляют усладу... Глубоко привитый воспитанием, кальвинизм терзал робкую душу матери Бокля, и мысль о преступности ее счастья, о греховности земных привязанностей не давала ей покоя. Муж в ее глазах, несмотря на все уважение, которое она питала к нему, был все же еретиком – одним из тех, кому Кальвин предсказал вечную гибель, вечные жестокие муки в загробной жизни. И тоскующая, испуганная до физического трепета своими мыслями, мать Бокля уходила в себя, искала одиночества. Но напрасно молилась она о мире души своей – он пришел лишь с годами и слишком поздно, чтобы успокоить и осчастливить старика Бокля. Тот, видя, как бесполезны его привязанность, его усилия объединить духовную жизнь семьи, тосковал, доходя до мрачной сосредоточенности. Он дошел до того, что, гуляя по улицам, не узнавал своих знакомых и оставил все дела свои на произвол судьбы. Незадолго до смерти он сломал себе руку. Почему-то это сильно поразило его, и он не верил в свое выздоровление. «Я умру», – твердил он постоянно. Предчувствие оправдалось.

После смерти отца Бокль остался девятнадцатилетним богатым рантье с ежегодным доходом в 12–15 тысяч рублей. Он пользовался с этой поры полной, никем не стесняемой свободой, а характер его был настолько счастлив, что ему не приходилось даже бороться с собой. Те наслаждения, которые еще Аристотель

признал самыми опасными для человека, именно наслаждения чувственности в узком смысле этого слова, не прельщали его. Он любил лишь свои занятия и затем, как истый англичанин, комфорт, в смысле полного удобства и полного спокойствия... В вопросах комфорта он, как это мы скоро увидим, проявлял даже некоторую мелочность и, как Спенсер по поводу несовершенства каминных щипцов, любил распространяться о несовершенстве нашей цивилизации вообще...

Расставшись навсегда со своей конторой, он отправляется путешествовать по Европе. Вместе с матерью и сестрами он объехал Голландию, южную Германию, провел лето на модном курорте – Баден-Баден, оттуда перебрался через Альпы в Италию, довольно долго прожил в Риме и Флоренции и, возвращаясь домой, провел около двух месяцев во Франции, главным образом в Париже. Путешествие продолжалось около полутора лет и лично для Бокля было как нельзя более полезно. В какой бы стране он ни останавливался, он немедленно приглашал к себе учителей и занимался с ними местным языком. Филологические способности его были феноменальны, и не удивительно, что к двадцати пяти годам он уже знал девятнадцать языков, читая на каждом из них совершенно свободно и был в состоянии даже говорить на них, хотя и с акцентом. Он изучил языки: французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, голландский, датский, валлонский, фламандский, шведский, исландский, фризский, маорийский, русский, англо-саксонский, еврейский, греческий и латинский. Больше всего хлопот и трудов доставил ему русский язык, с произношением которого он так и не справился, но все же он мог читать и наши книги, мечтая впоследствии уделить в своем сочинении главу «История цивилизации в России» для выяснения «некоторых специальных законов общественного развития» – к сожалению, неизвестно, каких именно.

Изучение языков было, разумеется, не целью, а лишь средством для другого, важнейшего дела. Десятки языков и тысячи прочитанных книг были лишь доспехами, в которые следовало облачиться для завоевания славы и достижения раз намеченной цели. Этой целью была «История цивилизации» – не цивилизации какого-нибудь отдельного народа или части света, а всего мира, всего человечества. В предполагавшемся грандиозном сочинении должны были найти себе место все явления умственной и общественной жизни людей, начиная с первого лепета их мысли, с первых попыток проникнуть в тайны природы и кончая торжеством положительной философии и естествознания. Бокль был еще очень молод, когда этот план

впервые возник в его голове. «Между 18-ю и 19-ю годами жизни, – признавался он впоследствии, – я задумал план своего сочинения – разумеется, смутно – и принялся за его исполнение».

Что дало толчок мысли Бокля, что вывело ее на определенный путь – мы не знаем. Каким путем из беспорядочного чтения могла возникнуть известная программа – это тайна, неразгаданная еще до сей поры. Говорят, будто мысль о законе тяготения впервые мелькнула в голове Ньютона в ту минуту, когда он увидел перед собой падающее яблоко. Руссо рассказывает о себе, что первый и самый знаменитый его памфлет «Discours sur les arts et sur les sciences»^[3] открылся ему во всех подробностях сразу, и притом совершенно случайно, в то время, когда он возвращался пешком в Париж после свидания с Дидро. «Как пораженный молнией, – читаем мы в „Confessions“, – упал я под дерево. Мысли закружились в моей голове, мое лицо было мокро от слез. Когда я поднялся, я знал, что я напишу, от первого до последнего слова». В голове Спенсера мысль о его грандиозной синтетической философии, которая по первоначальной программе должна была заключать в себе и астрономию, и физику, и химию, возникла, когда ему не было еще и шестнадцати лет...

Очень может быть, что приведенные факты не верны или, лучше сказать, не совсем верны. «Яблоко Ньютона» считается легендарным, к рассказу Руссо многие относятся довольно недоверчиво, лично сам Спенсер хранит молчание о зарождении плана своих работ. Но мне думается, что чрезмерная недоверчивость и осторожность в данном случае излишни. Как ни мало изучены законы творчества, отрицать возможность мгновенного возникновения богатых и грандиозных идей невозможно. Вдохновение – это такая сила, которая в один миг совершает работу многих лет путем наития, угадывания, проникновения. Достаточно порой самого незначительного толчка, чтобы в голове художника или мыслителя вдруг возник образ или идея, – Бог весть, путем какого таинственного процесса мозговой работы. Дарвин, читая Мальтуса, был поражен его идеей борьбы за существование и распространил ее на весь органический мир, хотя Мальтус говорит лишь о человеческом обществе. Возможность расширить сферу действия закона, подчинить ему всю жизнь, а не маленькую часть ее, мелькнула в мыслях Дарвина. Программа работы была найдена сразу, с быстротой молнии; потребовалась целая жизнь, чтобы осуществить ее. Знаменитое восклицание Архимеда, «эврика», когда ему внезапно, без всяких предварительных опытов, открылся закон удельного веса просто потому, что полная ванна,

в которую он садился, расплескалась при этом, доносится к нам из каждого столетия и из жизни почти каждого значительного деятеля науки. Историей мгновенных и важных открытий, вроде хотя бы гальванизма или удельного веса, можно было бы наполнить целые страницы, будь они в моем распоряжении, и мне думается, что это не было бы бесполезной работой. Ведь в сущности говоря, эта-то непостижимая мгновенность возникновения новых и неожиданных идей, которые, появляясь, совершенно нарушают стройность и закономерность психической жизни, и привела современную психологию к признанию «бессознательной деятельности сознания» – «conscience inconsciente», как не совсем удачно выражаются французы. Бине, например, без всяких колебаний признает, что «бессознательное сознание» работает неизмеримо энергичнее «сознания, сознающего себя» и что в нем корни художественных образов и научных гипотез. Здесь-то, в этой темной таинственной области человеческого разума, идеи и образы долгое время находятся в скрытом состоянии, пока яркая молния вдохновения не осветит своим блеском подземное царство «бессознательного сознания». Из миллиона получаемых нами ежедневно слуховых, зрительных, осязательных, идейных и прочих ощущений мы обращаем внимание лишь на тысячную долю, а запоминаем, вероятно, одну десятитысячную, а, быть может, и меньше. Но остальные не пропадают бесследно. Они доходят до нашего мозга и складываются в его обширные, вероятно бесконечно вместительные кладовые, чтобы при случае появиться на свет Божий. Раз вступив в область предположений, мы не можем остановиться на этом и должны допустить, что содержимое кладовых является приобретением не одного человека, не отдельного разума, а целых поколений. Нужен лишь гений, талант, вдохновение, то есть посох Моисеев, высекающий источник живой воды из скал, чтобы разум человеческий раскрыл свое богатое содержание.

Характерно, что Бокль ни единым словом не обмолвился о том, как мысль об «Истории цивилизации» возникла в его голове. Человека, более сдержанного относительно интимной своей жизни, трудно себе и представить. Однажды он даже уничтожил свой дневник за целые пятнадцать лет, потому что, говорит он, «там находилось много интересного лишь для меня одного». Пожалуй, это английская черта, которая обуславливает такое громадное различие между национальными характерами англичан и их соседей – французов по преимуществу. Француз твердо убежден, что для человечества нет более интересного предмета, чем он сам, его радости и горе, подвиги, им

совершенные, и неудачи, им вынесенные; он красноречив и бесконечно словоохотлив, если речь касается его собственной особы, очевидно и несомненно стоящей в фокусе всеобщего внимания. Он субъективен до последней степени, и если этот ребячий эгоизм часто порождает много смешного и комичного, он же зато и вызывает к жизни такие дерзкие проникновения в душу человеческую, как «Исповедь» Руссо, как мысли Паскаля и Монтеня.^[4] Англичане гораздо сдержаннее, безусловного субъективизма их лирика достигает только у Шелли и в первых произведениях Байрона; вообще же они заслоняют свою личность внешним миром, свои чувства – наблюдениями над окружающим. Неудивительно поэтому, что дошедший до нас дневник Бокля, равно как и дневник Дарвина, включает в себе лишь сухой и сжатый отчет о прочитанных книгах, о проведенном времени, о программе занятий, и в этом проявляется не только научный склад ума, но и племенная особенность, давно подмеченная такими проницательными наблюдателями английской жизни, как Вольтер, г-жа Сталь, Тэн, Орель, Луи-Блан, Герцен и т. д.

Каким бы, однако, образом ни появилась у Бокля мысль об «Истории цивилизации», она, однажды возникнув, сделалась господствующей в его жизни и совершенно подчинила себе его волю. Она очаровала его своею грандиозностью, величием своих размеров и глубиной своего захвата. С этой минуты и до самой могилы Бокль является перед нами рыцарем в лучшем, благороднейшем смысле этого слова, а его идея – прекрасной дамой. Вдохновляясь ее красотой, ее недоступностью, он готов на любые подвиги, на любые жертвы. Он не боится трудов, хотя бы они продолжались десятки лет; он не требует нетерпеливо скорой награды; он знает, что ему предстоят серьезные битвы и схватки, что прежде, чем достигнуть цели, придется пройти сквозь множество дремучих лесов, через которые его предшественники не проложили даже тропинки. Но он ничего не боится. Две вещи вдохновляли его – молодость и честолюбие. Молодость скрывала от него грустную правду о его собственном здоровье и твердила ему, что сил хватит. Он не знал, да и не мог еще знать тогда, какими гомеопатическими дозами надо было бы ему расходовать себя, чтобы не надорваться и не пасть среди дороги, не знал, что среди счастливой обстановки, благодаря ежедневной десятичасовой работе, завязывается уже роковой узел переутомления, развязать который сумела лишь холодная рука смерти. Не останавливаясь на мрачных предзнаменованиях, вроде лихорадок, ощущения слабости и т. д., он бодро смотрел вперед, где перед ним сиял яркий образ прекрасной дамы в своем чарующем великолепии. Не меньше молодости вдохновляло его

честолюбие. По его собственному признанию, оно было главной и, в сущности, единственной его страстью. Он сознавал в себе недюжинные силы и дарования и решился посвятить их такой работе, которая поставила бы его в первые ряды деятелей мысли. Юношей он дал себе слово не разбрасываться по мелочам, не печатать ни одной строчки, пока не будет закончен главный труд. Маленькая минутная слава не соблазняла его: ему нужна была та всемирная громкая слава, которая даже в глазах пессимистов является суррогатом бессмертия...

Заграничная поездка, изучение языков, постоянное чтение, которому он посвящал большую часть времени, принесли ему огромную пользу. Преследуя единственную свою цель, он не отступал ни на шаг в сторону. В сущности, это давалось ему без всякого труда. Он не любил театра, мало интересовался живописью, совершенно не понимал музыки и даже относился к ней с полным пренебрежением. Изящные искусства вообще не вдохновляли его; он откликался лишь на один призыв – призыв мышления. Совершенно лишенный музыкального слуха, он за всю жизнь не выучил ни одного мотива, и даже симфония Бетховена представлялась ему ничем иным, как набором бессвязных звуков. Только однажды ему показалось, что он узнал мотив, и сказал: «Кажется, играют „Rule Britannia“, – он ошибся и здесь: играли „God save the Queen“... Живопись и скульптура были ближе ему, но все же тратить целые часы на посещение галерей он считал нерасчетливым! Он любил читать драмы гораздо больше, чем видеть их на сцене. Благодаря такой односторонности, кабинет и библиотека были местами, где он чувствовал себя особенно счастливым и довольным. Шахматы и прогулка – вот единственные развлечения, которые он позволял себе.

«Из своего путешествия, – говорит Гез, – Бокль вернулся значительно изменившимся. Из тори он превратился в радикала, из правоверного англикана и церковника – в свободного мыслителя. Немецкая философия, картины австрийского деспотизма, отсутствие ферулы и наставлений отца соединились, чтобы вызвать в Бокле эту перемену».

Поселившись снова в Лондоне, Бокль даже не подумал ни о профессиональном занятии, ни об университете. Первое претило ему, второй вызывал искреннее презрение. «Как бы должен был напасть Локк на наши знаменитые университеты и общественные школы, – восклицает Бокль, – если бы увидел их! Половина того, что там преподается, недоступна разуму человеческому, а другая половина бесполезна для него. Оттого мы нередко видим так называемых высокообразованных людей, исполненных предрассудков: образование не только не помогло их развитию, а

затормозило его».

Не справляясь о мнении окружающих, не обращая ни малейшего внимания на то, что положение молодого, ничем, по-видимому, не занятого человека, тем более сына купца, представлялось довольно странным с точки зрения общепринятых правил поведения, он решился заниматься сам. К полной своей самостоятельности он относился не только бережно, но и ревниво. Любопытно, что, будучи знаком даже с Галламом, он ни разу не спросил у него совета, хотя знаменитый историк и предлагал ему свои услуги в этом отношении. Его гордость, честолюбие и самоуверенность были безграничны, а результаты его работы доказали, что он имел право на это. Несколько отрывков из его дневника покажут нам, как он проводил свое время.

От 15 октября 1842 г. мы читаем: «Переехав сегодня на новую квартиру – Norfolk Street № 1 – и устроившись на ней, я задумал завести дневник, главным образом для того, чтобы иметь возможность следить за собственным чтением и подводить итоги сделанному. До сих пор я читал хотя и много, но, к сожалению, без системы и строгой программы. Поэтому-то я и решился, начиная с сегодняшнего дня, посвятить все свои силы изучению средневековой истории и литературы. К выбору предмета меня побуждает не только его интерес – хотя эта причина немаловажная – но и то обстоятельство, что средние века до сих пор изучены еще очень мало и редко привлекали к себе внимание истинных людей науки. А честолюбие подсказывает мне, что долгий ряд упорных усилий в соединении с дарованиями – во всяком случае большими средних – увенчается в конце концов громким успехом... Возвращаясь, однако, к своему дневнику. Я встал сегодня в половине восьмого утра и до девяти часов был занят приведением в порядок своих книг, одежды и т. д. В девять я позавтракал, а затем начал писать свой дневник, что вместе с письмом к мисс Ш... заняло у меня время до половины одиннадцатого. От половины одиннадцатого до половины двенадцатого я читал „Историю средних веков“, напечатанную в „Энциклопедии“ Ларднера, справляясь все время с сочинениями Галлама и кратким руководством Гавкинса для проверки хронологических данных. Я дошел таким образом от вторжения Хлодвига до убийства Сигеберта Фредегундой в 575 году. При чтении я, как обыкновенно,

делал многочисленные выписки...»

От 25 октября 1842 г.: «Общий обзор истории Франции занял у меня десять дней, но один день я совершенно был не в состоянии читать, так как был слишком густой туман, и вообще все это время я чувствовал себя не вполне бодрым. Итак, кладу на историю отдельной страны в средние века восемь дней. Я намерен прежде всего ознакомиться, хотя бы быстро и поверхностно, со средневековой историей Европы, а затем перейти к тщательному изучению подробностей, выбирая для этого лучшие и наиболее законченные произведения».

От 26 октября 1842 г.: «Не завтракал до десяти часов. Закончил хронологическую таблицу средневековой Франции и перелистывал труды по истории Германии и Италии, рассуждая, за которую следует приняться сначала. Остановился на Германии».

Увеличивать число подобных выписок бесполезно. Все они говорят нам о том же, все рисуют ту же картину сосредоточенной кабинетной жизни. Речь почти исключительно идет о том, что прочитано или что предстоит еще прочесть; лишь изредка, как бы случайно, вырывается фраза, позволяющая нам заглянуть в душу Бокля, и немедленно же прячется за цитатами, хронологическими цифрами, именами. Когда следишь за этим дневником, не знаешь, чему удивляться – быстрой ли, с какой Бокль поглощал книги, или напряженному вниманию, с каким он следил за каждой подробностью. Однажды он, например, жалуется на Ларднера, что тот называет Фредегонду – Фредегундой и Сигеберта – вторым сыном Хлодвига, тогда как у Галлама тот назван «младшим», и т. д. С терпением естествоиспытателя, не пренебрегающего ни единой подробностью, Бокль разбирается в хронологической и генеалогической путанице, ни разу не жалуясь на утомление или скуку. Все равно, как сильный источник света бросает щедро свои лучи на самый ничтожный предмет и делает его блестящим и красивым, так и грандиозная идея «Истории цивилизации» одухотворяла и осмысливала в глазах Бокля все мелкие подробности исторического изучения. «Если хотите открыть что-нибудь новое и самостоятельное, – сказал еще Бэкон, – изучайте подробности». Бокль от начала до конца оставался верен его завету... От общих сочинений он быстро перешел к хроникам, актам, мемуарам, донесениям послов и т. д., проявляя все то же терпение, все ту же неутомимость.

Чтобы представить объем его занятий, надо припомнить его

взгляды на историю и те требования, которые он предъявлял человеку, посвятившему себя изучению «матери наук».

Указав в самом начале своей книги на то, как бесконечно много собрано исторического материала, как велики усилия, потраченные на изучение законодательства, политических и военных летописей, науки, литературы, изящных искусств, нравов, экономических отношений и пр., и пр., Бокль продолжает:

«Но если бы мы стали описывать употребление, сделанное из этих материалов, то нам пришлось бы изобразить совсем другую картину. Печальная особенность истории человека заключается в том, что хотя ее отдельные части рассмотрены со значительным умением, но едва ли кто пытался слить их в одно целое и привести в известность существующую между ними связь. Во всех других великих отраслях исследования необходимость обобщения допускается всеми, и делаются благородные усилия возвыситься над частными фактами с целью открыть законы, которыми факты эти управляются. Но историки так далеки от усвоения себе этого воззрения, что между ними преобладает странное понятие, будто их дело только рассказывать факты, по временам оживляя их такими политическими и нравственными рассуждениями, какие им кажутся наиболее полезными. По такой теории любому писателю, который по лености мысли или по врожденной неспособности не в силах совладать с высшими отраслями знания, стоит только употребить несколько лет на прочтение известного числа книг, и он сделается историком и будет в состоянии написать историю великого народа, и сочинение его станет авторитетом по тому предмету, на изложение которого он будет иметь притязание.

Установление такого узкого мерил повело к последствиям, весьма вредным для успехов нашего знания. Благодаря этому обстоятельству, историки как корпорация никогда не признавали необходимости такого обширного предварительного изучения, которое давало бы им возможность охватить свой предмет во всей целостности его естественных отношений. *Отсюда странное явление, что один историк – невежда в политической экономии, другой не имеет понятия о праве, третий ничего не знает о делах церковных и переменах в убеждениях, четвертый пренебрегает философией*

статистики, пятый – естественными науками, между тем как эти предметы имеют самую существенную важность в том отношении, что они объемлют главные обстоятельства, которые имели влияние на нрав и характер человечества и в которых проявляются этот нрав и этот характер. Эти важные предметы, будучи разрабатываемы один одним, другой другим человеком, скорее разъединялись, чем соединялись; помощь, которую могли бы оказать аналогия и взаимное уяснение одного предмета другим, терялась, и не было видно ни малейшего побуждения сосредоточить все эти предметы в истории, которой, собственно говоря, они составляют необходимые элементы».

Очевидно, что, с точки зрения Бокля, историк должен был быть почти всеведущим существом. Юриспруденция и политическая экономия, физиология и физическая география, химия и математика не могут быть чужды ему, иначе как установит он преемственность идей, как определит он значение того или иного открытия? Если бы хор историков, раскрашивающих и размалевывающих свою науку вот уже в течение столетий, собрался около Бокля и стал бы доказывать ему, что его требования слишком высоки, что не хватит ни сил, ни жизни человеческой для осуществления его программы, он, без сомнения, презрительно ответил бы им: «Вы слабы: зачем же вы беретесь не за свое дело? Предоставьте его тем, кто может, ибо неизвестно, больше ли вреда или пользы принесли ваши труды человечеству...»

Глава II. Пятнадцать лет в библиотеке

Перед нами пятнадцатилетний период жизни Бокля, за который самые старательные из его биографов, например м-р Гез, не могут отметить ни одного события, кроме разве вторичного путешествия за границу, ничем, впрочем, не замечательного. Эти долгие пятнадцать лет Бокль просидел в четырех стенах своей библиотеки, обдумывая свой громадный труд с тем упорством и той настойчивостью, которые характеризуют истинных людей науки. Его главным занятием были чтение и составление конспектов прочитанного. Цифры в данном случае значат кое-что, и мы можем сообщить, что за это время Боклем прочитано около двадцати тысяч томов на всевозможных языках и по самым разнообразным отраслям знания.

Только в самом начале рассматриваемого периода мы видим несколько слабых лучей романтизма, которым, однако, вскоре суждено было потускнеть и даже погаснуть. Две-три случайных фразы, вырвавшихся как-то в разговоре Бокля, позволяют нам предполагать, что он любил. Но, по всей вероятности, его возлюбленной было не особенно весело в обществе молодого джентльмена, слишком уж благоразумного для своих лет, и она предпочла другого. С этим другим, чье имя история не сохранила, Бокль даже дрался на дуэли, впрочем, закончившейся благополучно – ничтожными царапинами. Вторая любовь Бокля, к его двоюродной сестре, несмотря на взаимность, тоже кончилась, однако, неудачей. Его мать пришла в ужас при мысли о возможности брака между такими близкими родственниками и поторопилась расстроить дело в самом начале, что ей блестяще удалось. После этого матримониальные проекты перестали тревожить Бокля, хотя окончательно он никогда от них не отказывался. Но он решил, что женится не раньше, чем увеличит свою ренту до тридцати тысяч рублей, «так как, – говорил он, – я буду слишком любить свою жену и слишком дорожить ее удобствами, чтобы отказывать ей в чем-нибудь...» Романтизм, как видно из этих слов, исчез окончательно и безвозвратно.

Ниже читатель встретит не одну цитату из переписки Бокля с мисс Ширеф – писательницей. Внимательно просматривая переписку нашего философа с «синим чулком» – так как мисс Ширеф была именно таковым – нельзя отказаться от мысли, что Бокль и в данном случае питал нежные, хотя и не особенно энергичные чувства. Но Боже, в какую странную форму строгой

учености воплощалась взаимная симпатия! На сто фраз о Конте, Милле, цивилизации, нравственности, прогрессе едва-едва приходится одна, и то недоговоренная, фраза, из которой можно предположить, что Бокль подумывал о возможности для мисс Ширеф обратиться в мистрисс Бокль и что мисс Ширеф против такого превращения не имела ровно ничего. Вообще же не здесь, не в сфере любовных волнений надо искать «романтизм» Бокля.

Присмотримся теперь поближе к занятиям Бокля, но предварительно сделаем одно необходимое замечание.

Обычное представление о деятелях науки и особенно о философах как о людях рассеянных, непрактичных, нерасчетливых и несколько даже аскетически настроенных – словом, «не от мира сего» – очевидно, немецкого происхождения и решительно никуда не годится, если мы имеем дело с англичанином или французом. Любовь к комфорту, житейское благоразумие, деловитость характеризуют почти всех без исключения мыслителей-англичан. Возьмите знаменитейших из них, как Бэкон, Локк, Гоббс, Юм, Болингброк, Дарвин, Милль, Спенсер и т. д., не говоря уже о лорде Маколее или Гроде, и вы увидите перед собой настоящих джентльменов, очень обстоятельных, нисколько не чуждающихся жизни и без всяких признаков эксцентричности. Специальность кладет на них свой отпечаток, но не поработает их. Из кабинета, библиотеки или лаборатории они без всякого смущения переходят в гостиную или залу парламента, охотно произносят публичные речи и высоко ценят жизненные удобства. Ни растрепанных, торчащих клочьями волос, ни сюртука, щедро усыпанного табаком, ни резкой нетерпимости, выработавшейся в одиночестве, нет и следа. Английский гений представляет из себя счастливое сочетание романского и германского элементов. Оно проявляется во всем, начиная с внешности и кончая способом мысли и способом изложения, и, являясь отпечатком вековой истории, играет громадную роль в жизни каждого англичанина.

Немец как человек науки не имеет почти ничего общего с массой, с народом. У него свои отдельные вопросы, свои особенные интересы, симпатии и ненависти совершенно в такой же степени, как свой кабинет и свои привычки. Бокль прекрасно охарактеризовал эту особенность германского мышления и германской цивилизации.

«Немецкие философы, – говорит он, – обладают такой суммой знания и такой широтой мысли, которые ставят их во главе всего цивилизованного мира. Напротив того, немецкий народ более суеверен, более

подчинен предрассудкам и, несмотря на заботу правительств о воспитании его, более невежествен и менее способен к самоуправлению, чем население Франции и Англии. Это разграничение и даже разъединение двух классов составляет естественное последствие того искусственного возбуждения, которое сто лет тому назад было произведено в одном из них и которое, таким образом, нарушило нормальные отношения общества. Вследствие этого явления высшие умы в Германии настолько опередили общее движение нации, что между двумя частями ее нет никакого сочувствия и в настоящее время нет никаких средств, которые бы могли привести их в соприкосновение. Великие писатели Германии обращаются не ко всей стране, но друг к другу. Они уверены в том, что будут иметь избранную, ученую аудиторию, и потому употребляют язык, который по справедливости можно назвать ученым: они обращают свой природный язык в особый диалект, действительно красноречивый и сильный, но такой трудный, такой гибкий и до такой степени наполненный сложными инверсиями, что низшим классам их же нации он совершенно непонятен.

От этого произошли некоторые из самых замечательных особенностей немецкой литературы. Не имея обыкновенных читателей, она ограждена от влияния обыкновенных предрассудков; вот почему она обнаружила смелость в изысканиях, неустранимость в преследовании истины и пренебрежение к мнениям старины – качества, дающие ей права на величайшую похвалу. Но с другой стороны, от этого же обстоятельства произошло то отсутствие практического знания и то равнодушие к материальным, житейским интересам, за которые справедливо порицают немецкую литературу. Это естественным образом еще более расширило первоначальный разрыв и увеличило расстояние, отделяющее великих германских мыслителей от того тупого, погруженного в материальные расчеты класса, который хотя и стоит непосредственно под мыслителями, но не подвергается влиянию их знаний и не согревается пламенем их гения». («История цивилизации в Англии», т. I, гл. V, с. 98).

Резкой противоположностью немецкой учености и немецкому гению представляется гений и ученость Франции. Он красив,

изящен и популярен. Известное изречение, что великие мысли зарождаются чаще не в голове, а в сердце, как нельзя лучше применимо к нему. Оттого-то лучшие французские философы, как Монтень, Паскаль, Руссо и даже Конт доводят личный элемент своего мышления до лиризма. Это делает их общедоступными. Говоря всем и каждому, французские писатели довели ясность своего изложения до прозрачности и обработали свой язык до такой степени, что некоторые, например Тэн, по справедливости называют его лучшим произведением французского искусства. Сравните, например, Канта и Конта. Раскройте любую страницу «Критики» первого и «Философии» второго, у Канта, без долгой предварительной подготовки, без тщательного и тяжелого изучения терминологии, вы не поймете ничего, как бы хорошо вы ни знали язык, у Конта – наоборот. Пока он не говорит о специальных математических или химических явлениях, он доступен каждому. Его «Философия» производит на вас впечатление блестящей популяризации.

Равно как история Англии представляет из себя взаимодействие германской и романской культуры, так и английский гений соединяет в себе особенности немецкого и французского. Он стремится к той же основательности, научности и объективности, как немецкий, и к той же общедоступности, как французский. «В Англии, – говорит Бокль, – накопление и распространение знаний идут рука об руку», а он сам, как истинный англичанин, стремился сразу к обоим целям.

В самом деле, целые годы он *учился писать*. Книги давали ему факты, но перед ним стояла задача изложить их так, чтобы «мысль, скрывающаяся за ними, была понятна каждому мыслящему и мало-мальски образованному человеку». Каждый день Бокль прочитывал лучшие отрывки из речей Борка, Шеридана, Фокса, многие заучивал наизусть, другие излагал своими словами, а затем сравнивал с оригиналом, стараясь проникнуть в тайну изложения великих ораторов. То же делал он с Юмом, Галламом, Локком. Книга, доступная лишь немногим избранным, казалась ему недостойной своего высокого назначения, как бы ни была она умна и даже гениальна.

Кроме грандиозного проекта ознакомиться со всеми науками, имеющими отношение к истории, и написать историю цивилизации, Бокль, как видно, поставил себе и другую задачу: создать общедоступную философию истории, от которой не отвернулись бы даже люди без специальной подготовки и без неограниченного запаса свободного времени. Очевидно, что в таком случае он должен был рассчитывать не только на свою усидчивость, но и на свои художественные таланты. Ведь на

самом деле общедоступным может быть лишь истинно художественное произведение. Задача «общедоступного» изложения и популяризации близка и родственна задаче искусства вообще. Популяризатор должен действовать не только на логическое мышление читателя, но и на его чувство, волю, воображение, и, стремясь к этому, Бокль задумал дать людям не остов философии истории, не систему ее законов, не ряд доказательств, стройно следующих друг за другом, а такую книгу, где бы на основании самого точного изучения мельчайших подробностей вырисовывалась картина прошлой жизни человечества, где бы сами законы истории являлись не в виде формул, а облеченные в плоть и кровь человеческих страстей, интересов, ошибок и заблуждений. Художественный талант и художественное изложение должны были ввести внутрь организма истории сильный источник света и показать, как билось сердце человечества, как работали клеточки его мозга, как бежали в венах шарики его крови...

Громадность задачи не пугала его. А между тем он видел и знал, что в Англии он – один работник на избранном им поприще. Знаменитые его современники-историки, такие как Маколей, Карлейль, Грот, шли совершенно другой дорогой. Стремления Бокля были чужды им.

Маколей был истинным романтиком истории. Работа историка, по его мнению, должна была состоять в умелом выборе характерных черт и группировке материала. Ему нет надобности изображать все с одинаковой подробностью. Одно он выдвигает вперед, другое заслоняет более важным с целью нарисовать картину эпохи так, чтобы читатель, незаметно для самого себя, становился современником прошлого. Маколей не имел ничего даже против вымысла. По его собственным словам, «произведения классических историков могут быть названы романами, основанными на фактах. Рассказ в них во всех главных основаниях, без сомнения, верен, но бесчисленные мелочи, усиливающие интерес, слова, движения, взгляды очевидно созданы воображением автора. Метод позднейших времен иной. Писатель сообщает рассказ более точный. *Сомнительно, однако, точнее ли становятся от этого сведения читателя.* Лучшие портреты едва ли не те, в которых есть легкая примесь карикатуры, вымысла, и мы не уверены, что лучшие истории не те, в которых с толком употреблена доля прикрас вымышленного изложения. Кое-что теряется в точности, зато много выигрывается *в эффекте.* Мелкие штрихи забываются, но великие характеристические черты запечатлеваются в уме навсегда».

Бокль очень уважал Маколея. По смерти последнего он

воскликнул как-то: «Наконец-то они (газетчики), преследовавшие его в течение десятилетия своими насмешками и придирками, поняли, что потеряли». Но, разумеется, с изложенным выше взглядом на историю ему нечего было делать. Он не позволял себе придумывать ни одного «жеста, слова, взгляда», не заботился о романических эффектах. К своей науке он относился как естествоиспытатель, и если тот считает чудовищным любое приукрашивание, то в сущности так же смотрел на дело и Бокль. Его отвлеченному уму история представлялась необходимым действием «великих и непреложных законов», проявляющихся в личностях, а не ареной, на которой устраивают судьбу народов выдающиеся личности. Правители и полководцы мало поражали его воображение. Он не мог придавать такого значения Вильгельму III, как Маколей; он постоянно твердит нам, что центр исторической тяжести не в личностях, а в «общих причинах».

Но весь романтизм Маколея является бледным в сравнении с романтизмом Карлейля. Приступая к нему, мы уже выходим из области истории как науки, и перед нами разыгрывается величественная историческая драма, в которой судьба, силы подземные и небесные принимают близкое и прямое участие. Карлейль изучает прошлое, чтобы творить над ним суд. Его приговор, часто жестокий и безжалостный, является в нашем историческом столетии как бы отзвуком громовых проклятий Кальвина, Нокса, Мильтона. Все зло, все ошибки, несчастья людей – результат их греховности, их самообожания, их ненасытной жадности. Надо понять свое бессилие, ничтожество, надо покаяться и смириться. Только в преданности и рабской покорности героическому началу жизни, воплощенному в великих людях, можно найти счастье и только этим путем можно исполнить свое назначение на земле, можно добиться безусловной нравственной чистоты и торжества справедливости. Трудный, тернистый путь самоотречения и даже самобичевания предстоит людям, – но кто сказал, что они рождены для счастья?

Страдание стоит над их колыбелью, страдание провожает их в могилу... Политическая свобода, экономическая самостоятельность, парламенты и свобода печати, богатство и роскошь – ничто перед словом правды, перед искренним порывом сердца. Говоря правду и *делая* правду, человек входит в общий мировой процесс, таинственный и грандиозный, бесконечный, как звездное небо, как само пространство, сама вечность. Но правда жизни доступна лишь избранныкам, героям. Итак – за ними, куда бы они ни повели, к смерти или радости, за ними – с тем же суровым ликованием, с каким шли пуритане за Кромвелем, за

ними – с той же покорностью, с какой говорилось когда-то: «Caesar morituri te salutant».[5]

окль никогда, ни одним словом не отозвался о Карлейле – не только о его могучих памфлетах, где он словами великих пророков Иудеи рисует нам наступившие сумерки человечества, громит ложь и разврат нашей жизни и издевается со смехом озлобленного Мефистофеля над претензиями человека на счастье – но даже мало пользовался и его научными сочинениями, как, например, «Letters and speeches of Oliver Cromvell». Трудно даже представить себе столь противоположные умы, характеры, темпераменты, как Карлейль и Бокль. Их мышление, их способы изложения – два полюса. Читая Бокля, вы как бы идете по старательно разбитому английскому парку, с прямыми аллеями, с группами красивых выхолненных деревьев, с геометрически правильными лужайками. Карлейль своим могучим воображением, неожиданными оборотами своей мысли и слова сразу, с первых же страниц, переносит вас в дебри и трущобы горного хребта. Вы идете с ним по краям бездонных пропастей, перебираетесь через молчаливые ледники, слышите холодное дыхание вечных снегов. Туман то и дело окутывает вас, закрывает небо и горы. Все говорит вам о величии жизни, о ничтожестве человека, все ставит вас лицом к лицу с неразрешенными загадками, все мучает своим полным равнодушием к людям, их скорбям и их радостям. А мрачная величественная фигура историка высится перед вами и, протягивая угрожающую руку, твердит постоянно: «Покайся и пойми, как ты мал, *слаб*, ничтожен, как преступно твое самообожание, как наивна твоя самонадеянность, каким детским лепетом кажутся твои «я могу и я хочу» перед этим вечным небом, этой таинственной природой, поглотившей уже миллиарды тебе подобных...»

Маколей со своими взглядами на историю, Карлейль со своей суровой проповедью ничего не могли дать Боклю. Он был один в своем деле, тем более оно вдохновляло его.

Однообразно тянулась его жизнь. Дружбой с матерью, любовью к книгам, мечтами о будущем труде исчерпывается вся интимная ее сторона. Изо дня в день он все глубже и глубже уходит в свою работу, а его молодость отгоняет пока тревожные мысли о том, что работа бесконечна. Лишь изредка, лежа больным, измученным, усталым на постели, в лихорадочном жару, обдумывая, что сделано и что остается еще сделать, он чувствует головокружение, как человек, стоящий на громадной высоте, при взгляде вниз. Но силы уходят каплями, жизнь пока дает свои предостережения мягко и ласково, болезнь тревожит лишь по временам, и та трагедия, которая вся целиком

воплотилась в словах умирающего Бокля: «Моя книга, моя книга! Я никогда не окончу ее», только готовится в этой бедной и, в сущности, нищенской обстановке человеческой жизни.

Большую часть времени он проводит за книгами. Чтение для него – потребность, развлечение, дело жизни. Без книги он не может обойтись ни одного дня. Каждый раз во время прогулки он заходит к букинистам, роется в их рухляди и с торжеством вытаскивает оттуда что-нибудь интересное, какой-нибудь старый запыленный фолиант, какое-нибудь редкое издание; он берет с собою книги в поездки и путешествия, он не понимает, как можно жить без них. «Какая прекрасная вещь – хорошая книга!» – восклицает он с нежностью. К своим печатным сокровищам он относится бережно, любовно, как любящий и рачительный хозяин. Он не позволяет себе загибать углы на страницах, отмечать нужные ему места как попало, держать на своем письменном столе беспорядочные вороха книг. Он сам переплетает книги, заносит их в каталог, расставляет по полкам. Его библиотека все растет и пополняется. Громадные шкафы тянутся по стенам его рабочего кабинета, число томов постепенно достигает почтенной цифры – двадцать две тысячи.

Быстрота его чтения поразительна, не менее поразительна и память. Целая драма Шекспира, целая речь Борка свободно помещаются в его голове. Большую часть цитат он делает на память и лишь потом сверяет их с оригиналом. Постепенно неясные мысли юности о «законах истории» начинают, благодаря чтению, выкристаллизовываться в его голове. Он уже знает, что хочет сказать, и настойчиво ищет доказательств, чтобы явиться во всеоружии готовым на все возражения. «Или со щитом, или на щите» – или новая эра в изучении истории, или – ничего. Таков девиз Бокля, одаренного одновременно горячей кровью и холодным, систематическим, ясным умом. Волнение крови создало план, перед грандиозностью которого бледнеет большая часть человеческих замыслов, холодный ум попытался осуществить его...

К сожалению, мы не имеем никакой возможности проследить рост его идей. Они явились перед нами результатом громадной кропотливой работы, тысячи книг напитали их лучшим своим соком, сильная, упорная мысль работала над их кристаллизацией. Мы знаем их уже высказанными в гордой самоуверенной манере и с грустью должны оставить всякую попытку нарисовать картину их роста, кризисов, их детских болезней, их возмужалости. Все, что в наших средствах, – это указать главнейшие влияния, которые оказали на Бокля мыслители, раньше его выступившие на избранный им путь.

Те, кто внимательно читал «Историю цивилизации», знают, что Маккиавелли, Вико, Монтескье и Конт особенно сильно повлияли на Бокля и на его философско-исторические взгляды. Но мы, сберегая место, остановимся лишь на двух последних.

Бокль сам сказал нам, чему научился он у Монтескье; нам остается привести его собственные слова.

«Сочинения Монтескье, – читаем мы в „Истории цивилизации“, – представляют две главные особенности. Первая состоит в полном устраниии тех анекдотов и мелочных подробностей касательно отдельных личностей, которые принадлежат биографии и с которыми, как ясно видел Монтескье, *история не имеет ничего общего*. Вторая состоит в весьма замечательной попытке, которую он впервые сделал: *провести связь между историей человека и теми науками, которые имеют предметом своим внешний мир*.

...Пренебрежение Монтескье к мелким подробностям о дворах, министрах и государях, составляющих величайшую отраду обыкновенных компиляторов, соединялось в нем с таким же пренебрежением к другим, действительно интересным подробностям, касающимся умственных особенностей тех немногих истинно великих людей, которые появлялись по временам на поприще общественной жизни. Это происходило от сознания Монтескье, что подобные вещи хотя и весьма интересны, но маловажны. *Он знал, чего не подозревал ни один историк, предшествовавший ему, что в великом ходе дел человеческих личные особенности не имеют никакого значения и что поэтому историк, которого они вовсе не касаются, должен предоставлять их биографу, области которого они и подлежат*. Вследствие этого он не только относится к могущественным властителям с таким пренебрежением, что передает все царствование шести императоров в двух строках, но постоянно указывает на *необходимость даже и по отношению к великим личностям подчинять их исключительное влияние более общему влиянию окружающего их общества*.

...События, о которых повествуют обыкновенные историки, лишены всякой цели. События эти, вместо того, чтобы быть причинами, представляют собою скорее случаи, в которых проявляется действие общих истинных причин. Их можно бы назвать историческими случайностями, а относиться к ним должно всегда как к явлениям, подчиненным тем обширным и всеобъемлющим условиям, которыми одними только и управляется в окончательном результате возвышение и падение народов.

...Итак, первая и великая заслуга Монтескье состоит в том,

что он *ввел полное отделение биографии от истории и заставил историков изучать не особенности личных характеров, а общее свойство того общества, в котором являлись эти особенности.* Если бы этот замечательный человек не сделал ничего больше, он оказал бы уже неоценимую услугу истории, объяснив, каким образом один из самых обильных источников ее заблуждений может быть успешно устранен. И хотя мы, к несчастью, до сих пор не пожали еще всех плодов от поданного им примера, потому что преемники его редко имели способность подняться до таких высоких обобщений, несомненно, однако, что после него приближение к столь возвышенным воззрениям замечается даже среди посредственных писателей, которые по недостатку надлежащей обширности ума оказываются неспособными усвоить себе все эти воззрения в целом их объеме.

...Кроме того, Монтескье сделал другой великий шаг в методах историографии. Он был первым писателем, который в исследовании связи между социальными условиями страны и ее законодательством *обратился к помощи естественных наук*, дабы разобрать, каким образом характер какой-нибудь данной цивилизации изменяется от влияния внешнего мира. В своем сочинении о духе законов он *старался исследовать естественную связь между гражданским и политическим законодательством народа и климатом, почвою и пищею его страны...* Он обогатил историю введением в нее естественнаучных исследований, он укрепил историю отделением ее от биографии и освобождением от подробностей, которые никогда не бывают важны и часто ложатся совершенно ненужным бременем на память и мысль читателя».

После сказанного нами выше о Бокле, распространяться о том, что взял он у Монтескье, было бы излишним. Его задача, как и задача Монтескье, сводилась к тому, чтобы из истории сделать «естественную историю», из перечня фактов, побед, завоеваний – философский трактат, конечная цель которого – руководство жизнью, управление ходом исторических событий. Но Бокль пошел дальше Монтескье. Человек XIX века, он имел уже под рукой и статистику, и политическую экономию. Он мог оперировать целыми обществами, народами, тогда как в распоряжении Монтескье находились данные лишь об отдельных личностях, данные, которые он сам считал незначительными и маловажными. Бокль уже доказывал то, что Монтескье только угадывал и высказывал как предположение, порою даже как афоризм.

Другой мыслитель, чьи заслуги не дождались еще достойной оценки, – Конт – не менее Монтескье оказал влияние на

умственное развитие Бокля, хотя все же нельзя согласиться с теми, кто говорит, что, если бы не было «Положительной философии», не было бы и «Истории цивилизации». Две книги родственны друг другу, точка зрения, с которой в них рассматриваются судьбы человечества, одинакова. Первенствующее значение умственного развития и знаний несомненно как для Конта, так и для Бокля. Не видеть в их трудах преемственности идей невозможно, как невозможно не видеть и проявления позитивного духа нашего века. Могущественное влияние этого последнего столько же повинно в сходстве взглядов мыслителя француза и мыслителя англичанина, как и прямое взаимодействие.

Конт и Бокль были современниками; почти в одно и то же время создавались их знаменитые труды; главный интерес их обоих сосредоточен на одних и тех же вопросах; выводы, к которым они приходят, в большинстве случаев одинаковы; мало того, у них общие учителя – Вико, Вольтер, Монтескье, Тюрго, Кондорсе, и, несмотря на это, глубокое различие между ними сразу же бросается в глаза: один был до мозга костей французом, другой – англичанином. Изучая «Историю цивилизации» и «Положительную философию», мы можем проследить влияние национальности и истории даже в высших областях духа, даже в отвлеченнейших выводах разума.

Начните с метода. Конт, посвятивший десятки блестящих страниц доказательству того, что «наука об обществе должна быть индуктивной и в выводах своих переходить от частного к общему», сам, между тем, держится умозрения. Факты, приводимые им, только иллюстрируют его положения, формулы, законы, а не являются тем материалом, из обработки которого вытекали бы его выводы. Бокль, наоборот, как истинный ученик Бэкона, боится всякого предугадывания и дает свое обобщение лишь после целого ряда критически проверенных фактов. Конту нет ни малейшего дела до того, что, в то время как он пишет свою философию, химию, астрономию и пр., эти науки ушли уже далеко вперед; Бокль перерабатывает целые страницы и даже главы, если появляются новые данные. Конт ни на кого не ссылается, во всех шести томах его «Положительной философии» нет почти ни одного примечания. Бокль не побоялся кропотливой работы и каждый даже незначительный свой вывод обставил цитатами, чтобы читатель имел перед собой тот фактический материал, на который он опирался сам. Когда только возможно, Бокль обращается к статистике, и для него очевидно, что статистическое доказательство – лучшее и несомненнейшее, – Конт совершенно не знает статистики.

Но различие между Контом и Боклем становится еще глубже и непримиримее, когда дело доходит до практических выводов. Вековая история Франции и вековая история Англии, так резко противоположные друг другу, заставили обоих мыслителей, дойдя вместе до известного пункта, разойтись в разные стороны. История своего народа, мощное влияние католицизма в течение всех прежних веков научили Конта видеть спасение в сильной центральной власти, которая во все бы вмешивалась, всем бы руководила, все бы подчиняла себе. Даже «обучение нравственности и альтруизму» Конт возлагает на государственных чиновников, которым и дает наименование духовенства; к его мечтам о будущем общественном устройстве можно вполне применить слова, сказанные Боклем о французах вообще. «Ясно, – пишет он, – что французы меньше знают, но что они больше *верят*. Ясно, что развитие их было задержано преобладанием тех чувств, которые обращаются к древности как к единственному хранилищу мудрости. Причину этого надо искать в существовании *духа опеки*, который так опасен и вместе с тем так благовиден, что составляет самое серьезное из препятствий, с которыми приходится бороться развивающейся цивилизации. Этот дух, который по справедливости можно назвать злым, всегда был сильнее во Франции, чем в Англии. Во Франции он до сих пор ведет к вредным результатам. Он тесно связан с любовью к централизации, которая проявляется в механизме французского правительства и в духе французской литературы».

Этим духом был одержим и Конт как социальный реформатор, не случайно же в середине XIX века ему пришла в голову странная и болезненная фантазия произвести себя в первосвященники и проповедовать покорность и подчинение в то время, как вокруг него бушевали разнузданные страсти. Но он верил, что может быть образовано новое папство, могущественное, как папство XI века, и что новый Григорий VII будет господствовать над землею в ореоле своей непогрешимости, подвергая душу человеческую строгой дисциплине.

Но «народ хитрее стал». Личность не только осознала, но даже переоценила себя, она уже не может быть радостно покорной и радостно подчиненной, как прежде, она покорна и подчиненна, лишь когда ей выгодно это или когда она боится. Очень может быть, что это не особенно поэтично, зато справедливо.

Английская история привела Бокля к выводам прямо противоположным. Его четвертый знаменитый догмат гласит, что «задержка умственного движения, а следовательно и цивилизации – есть дух излишней опеки (централизации), что

общество не может процветать до тех пор, пока жизнь его находится почти во всех отношениях под чрезмерным контролем и опекой. *Ни один* англичанин, начиная с 1649 года, не возражал против этого, не оспаривал положения, выработанного веками суровой исторической жизни. Это поистине первый член великобританского символа веры, первая заповедь английской истории. «Мое исследование, – продолжает Бокль, – находит то, что люди только недавно еще начали понимать – именно, что в политике, где не открыто еще точных начал, первыми условиями успеха являются: компромисс, взаимный обмен услуг, практичность и уступка».^[6]

Можно ли найти большую противоположность взглядам Конта? Возьмите еще один оселок,^[7] почти безошибочно определяющий свойство умов человеческих, именно идею развития, эволюции. Конт считает наш современный промышленный строй совершенным и вечным; он не допускает, чтобы проектируемая им общественная организация могла измениться; он полагает самые узкие пределы ведению людей даже по отношению к физическим явлениям, утверждая, например, что мы никогда не узнаем, из чего состоят звезды, у него всюду точки, всюду пределы, их не преодолеть. Бокль признает бесконечность развития и движения, для него все относительно, вся историческая категория, то есть проявление известных, постоянно меняющихся условий и обстоятельств. Лишь вопросы о бытии Бога и бессмертии души считает он недоступными разуму человеческому.

Есть, однако, один пункт, быть может, самый важный, в котором обязательства Бокля по отношению к Конту несомненны. Конт первый строго и ясно сформулировал необходимость изучать социальные явления ради открытия законов, ими управляющих, употребляя слово «закон» в строго научном смысле, и его влияние сказывается даже на тех писателях, которые прямо отрекаются от духовного родства с отцом позитивизма. Бокль не считал себя контистом, но вот центральный пункт его учения, истинное и первое доказательство которого принадлежит не ему, а автору «Курса положительной философии»:

«Для тех, кто твердо сознает правильность явлений и кто прочно усвоил себе ту великую истину, что действия людей, исходя из предшествовавших им причин, в действительности никогда не бывают непоследовательны и что, при всей кажущейся произвольности своей, они составляют часть одной обширной системы всеобщего

порядка, которой, при настоящем состоянии знания, мы можем видеть одно лишь начертание; для тех, кто понимает эту истину, составляющую как ключ, так и основание истории, приведенные нами выше факты далеко не покажутся странными, а представятся тем именно, чего можно было ожидать и что давно уже должно было быть известно. И в самом деле, ввиду тех быстрых и положительных успехов, которые начинает делать изыскание, я почти не сомневаюсь, что не пройдет столетия – и ряд доказательств дополнится, и будет так же трудно найти историка, отрицающего неуклонную правильность в мире нравственном, как теперь трудно найти философа, отвергающего правильность в мире материальном».

И далее:

«В самом деле, ввиду беспрестанных столкновений человека с внешним миром нам становится ясно, что должна существовать связь между действиями человеческими и законами природы и что если естествознание еще не было применено к истории, то это потому, что историки или не заметили этой связи, или заметили самую связь, но не имели достаточных познаний, чтобы проследить ее действие. Отсюда произошло неестественное разъединение двух главных отраслей исследования: изучения внутреннего и изучения внешнего мира; и хотя в настоящем состоянии европейской литературы заметны некоторые несомненные признаки желания прорвать эту искусственную преграду, все-таки должно сознаться, что до сих пор еще ничего не было сделано для достижения этой великой цели. Моралисты, теологи и физики продолжают заниматься своими предметами, не обращая особенного внимания на этот, по их мнению, низший разряд ученых занятий; они даже часто нападают на этого рода исследования, как на нечто враждебное интересам религии и внушающее нам слишком большое доверие к человеческому разуму. С другой стороны, естествоиспытатели, сознавая, что они – передовая корпорация, естественным образом гордятся своими успехами и, противопоставляя свои открытия застою своих противников, проникаются презрением к тем занятиям, бесплодность которых теперь стала очевидна.

Дело историков – стать посредниками между этими

двумя партиями и примирить их враждебные домогательства, указать пункт, на котором их изучение должно соединиться. Установить условия этой коалиции – значит заложить основание всей истории. Так как история занимается действиями людей, а действия эти не что иное, как результат столкновения между явлениями внешнего и внутреннего мира, то необходимо взвесить относительную важность этих явлений, узнать, до какой степени известны их законы, и удостовериться, какими вспомогательными средствами для будущих открытий обладают два главных класса ученых: исследователи человеческого духа и исследователи природы».

Свое «Исследование духа человеческого» Бокль думал закончить в десять лет. Десять лет прошли, а он был только в самом начале работы. Несомненно, впрочем, что он начал писать книгу раньше 1850 года. Писал он медленно, скорее сдерживая вдохновение, чем насилуя его. Он брался за перо лишь в том случае, когда целый параграф окончательно складывался в его голове во всех своих подробностях. Выдумывать что-нибудь за письменным столом он не мог, лучшие мысли и даже целые периоды приходили ему всегда во время прогулки. Переправлять рукописи он не любил, а если какое-нибудь место не нравилось ему или казалось недостаточно сильно выраженным, он переделывал его от начала до конца, что отнимало массу времени. Но чем больше утомляла его работа, чем более недостижимой казалась конечная цель, тем больше он любил ее, любил до страсти, до самоотречения.

Он опять путешествовал. Его мысль, исключительно сосредоточенная возле одного вопроса, была, однако, так мало восприимчива к окружающему, что путешествие не доставляло ему особенного удовольствия. Как бы нехотя записывает он в свой дневник, что то-то и то-то «очень интересно» – «very interesting». К этому «very interesting» он не прибавляет ни одного слова.

В дневнике, относящемся к этому времени, он то и дело упоминает о болезни своей матери, которая, очевидно, сильно его беспокоит. Я уже говорил выше, что мать он любил горячо; в сущности, она была его единственным другом до самой смерти. Только ей поверял он свои мысли, только ей – и никому больше – читал он свою «Историю» по мере того, как она выливалась из-под пера. Перед посторонними он решил являться не иначе, как с чем-нибудь капитальным, законченным.

Этим «капитальным, законченным» должна была оказаться

уже не «История цивилизации», как предполагал раньше Бокль, а «История цивилизации Англии». Несмотря на все трудолюбие, несмотря на всю свою гордость, он понял, что будет вынужден сократить программу своей работы. Он увидел, что она не под силу одному человеку, особенно такому, как он, «который должен прочесть сто книг и проверить все данные, прежде чем написать страницу...»

Изучение естественных наук, к чему он совершенно не был подготовлен в юности, отнимало массу времени. Он доводил свою добросовестность до щепетильности, быть может даже совершенно излишней. 31 августа 1851 года он записывает, например, в свой дневник: «Читал главу о воспалении в „Физиологии“ Карпентера и перешел затем к „Началам медицины“ Вильямса. Это дает мне возможность вполне понять взгляды Гунтера и Куллена». Он изучает ботанику, химию, метеорологию, физиологию нервов, патологию, высшую математику, сам возится с микроскопом, составляет гербарий, штудировать сравнительную анатомию. Ненасытная жажда познания владеет им, его умственный голод растет изо дня в день, он истощает себя и не замечает, не хочет замечать этого. А природа безжалостна. Какое ей дело до истории цивилизации, до непреложных законов, до новых открытий. Она знает только то, что, если человек работает сверх сил, его надо наказать за это. И она наказывает Бокля. К тридцати годам у него уже появляется лысина и нездоровая опухлость лица. Ощущения слабости становятся чаще, то и дело появляются пароксизмы возбуждения.

Страстный курильщик вообще, он начинает курить запоем. Он отказывается ходить в гости в те дома, где не принято курить. Вместе с этим его мозг становится все более беспокойным и тревожным и теряет способность отдыхать. Состояние, похожее на обморок, или состояние возбужденное, нетерпеливое сменяют друг друга. В это время он особенно полюбил разговоры, хотя и не отличался особым мастерством в этом деле. Но беседа служила ему тем же, чем служит шприц для морфиниста. Он забывал свою усталость, горячился, чтобы потом, разумеется, ослабеть вдвое. Шахматную же игру, как слишком утомительную, ему пришлось бросить.

А между тем книга была в самом начале. Естественны поэтому минуты уныния даже для такого выдержанного человека, как Бокль. Однажды он писал своей приятельнице, мисс Грей: «Я не скрою от Вас, что порою меня огорчает и даже угнетает мысль о том, как ничтожны мои силы в сравнении с моими мечтами, надеждами, планами. Моя голова по временам слаба, мысль недостаточно ясна. Уверяют, что мне нечего бояться, – увидим...

Остановиться на полдороги, не завершить того, что является в моих глазах великим делом, прожить, не оставив по себе след, – вот грустное будущее, которое рисуется передо мной и кажется мне возможным. Думая о нем, я чувствую, как холодеет моя кровь. Быть может, я мечтал о слишком многом, но ведь временами я чувствовал в себе присутствие такой силы, такой пронизательности, такой власти над миром мысли, что не пустое тщеславие заставило меня поверить в себя и взяться за дело, которого, вероятно, никогда не окончу).

Не знаю, какое впечатление произведет это письмо на других, но думается, что трудно было бы не рассмотреть в нем трагедии, трагедии без жестов, громких слов, длинных и трогательных монологов и без всяких романических любовных прикрас. Ведь трагическое всегда получается от столкновения личности человеческой, ее стремлений, ее горячего чувства, ее страсти с мертвыми и холодными «законами», все равно чего – природы ли, общественной ли жизни, религии ли, государственного ли устройства. Главными действующими лицами во всех греческих трагедиях являются, с одной стороны, Судьба – то воплощенная в образе бесстрастного слепого существа, перед таинственным могуществом которого трепещет сам громовержец, то в образе нравственного закона, преследующего несчастного Эдипа, то в образе Креона, устами которого говорит неумолимая государственная власть; с другой – живое человеческое чувство, живой порыв любящего или ненавидящего сердца. Бокль в своей недолгой и такой тусклой извне жизни вынес то же столкновение. Бессилие отдельной человеческой воли, ничтожность отдельного человеческого порыва перед могуществом бытия дали почувствовать себя жестоко и страшно. Прочтя приведенное письмо, вы уже предчувствуете его глубоко грустные предсмертные слова.

Но силы исчезали медленно, по каплям. Он мог еще работать и работал так же усиленно, как прежде, несмотря на очевидные признаки переутомления. Как и всякая хроническая болезнь, вроде чахотки, например, это переутомление действовало сначала даже возбуждающим образом на его нервы и мозговую деятельность, и скоро стала периодически появляться бессонница. Несмотря на это, он решился пренебречь советами насчет полного отдыха и, «раз нельзя сделать всего – сделать хоть что-нибудь». 10 января 1855 года он записывает в своем дневнике: «Начал приводить в порядок книги, которые я цитирую в примечаниях к первому тому»; 22 июля того же года: «Наконец-то принялся за переписку своего сочинения для типографии»; 10 сентября: «Отчаиваюсь, что удастся закончить когда-нибудь

работу».

К счастью, опасение оказалось ложным. Начисто переписанная рукой самого Бокля, рукопись первого тома была готова в 1856 году.

Глава III. «История цивилизации в Англии»

Для первого тома своей «Истории» Бокль не нашел издателя. Богатая фирма «Паркер и сын» испугалась риска, связанного с изданием сочинения совершенно неизвестного автора, и возвратила Боклю его рукопись – факт, не лишенный интереса для характеристики книжного дела в нашем просвещенном столетии. Издательская логика имеет свои капризы и расчеты, не всегда доступные пониманию обыкновенного смертного, и мне кажется, что мы совершенно напрасно упрекаем XVII век и считаем бревном в его глазу небрежное отношение к «Потерянному раю» Мильтона. Милтон вынужден был продать рукопись своей поэмы за 50 рублей, но и в наши дни совершаются вещи, ничуть не лучшие. Манускрипт лучшего из произведений Карлейля «Sartor Resartus» пожелтел за время мытарств по редакциям журналов, «Логику» Милля никто не хотел издавать, «Происхождение видов» Дарвина и «История цивилизации» Бокля были отпечатаны за счет их авторов, так как «Паркер и сыновья» не считали эти труды достаточно интересными. Да, много еще времени пройдет, прежде чем мы будем вправе гордиться своим просвещением, – пока же мы не умеем даже избавить лучшие создания человеческого духа от прихотей, капризов и грошевых расчетов торгашей.

Будь Бокль беден, очень может быть, что его «История цивилизации» не вышла бы в свет, по крайней мере, при его жизни, но он решился сам подвергнуться «риску расходов». Переписка с издательскими фирмами, тормозившая дело, раздражала его. Как видно из его писем, его начинала даже, хотя и смутно, тревожить мысль о смерти. Но вот любопытная психологическая черта. Смерть пугала его, но не мистической своей стороной: не страх перед таинственной страной, откуда не возвращался еще ни один путник, томил и мучил его – он боялся лишь того, что не успеет закончить своего дела. Он верил в бессмертие души, хотя мы и не знаем, в каком виде представлялось ему это бессмертие, но бессмертие здесь, на земле, прельщало его не менее.

В 1858 году первый том «Истории цивилизации» вышел из-под печатного станка. Бокль посвятил его матери, и на первой странице крупно были отпечатаны слова: «Матери моей посвящаю я этот первый том моего первого сочинения». Наконец-то можно было вздохнуть с облегчением и расправить свои усталые руки.

Книга раскупалась быстро, и в течение трех—четырех месяцев разошлась в семистах экземплярах. Все английские журналы и газеты дали о ней свои отзывы – довольно, впрочем, сдержанные. Американцы немедленно перепечатали издание, а через год «История» была уже переведена на все европейские языки, кроме турецкого и испанского.

Бокль внимательно следил за впечатлением, произведенным его трудом. В октябре 1858 года он писал, например, мисс Ширеф: «Так как я собираю все критические отзывы о моей книге, то сообщите, пожалуйста, номер газеты, где вы прочли заметку. Через несколько лет любопытно будет пересмотреть отзывы. Не беда, что заметка появилась не в специальном органе; признаюсь откровенно, что я буду очень рад, если книга проникнет в большую публику. Масса, правда, не может оценить с критической точки зрения моих научных заслуг, но она – лучший судья, раз вопрос касается общественных, практических результатов и выводов труда. Мне бы хотелось воздействовать на обширный класс читателей, и я надеюсь достигнуть этого».

Нападки на Бокля очень многочисленны. В сущности, он не удостоился ни одного безусловно лестного отзыва. Всех смущала мысль, что это лишь первый том введения, и грандиозность плана представлялась безумной. Автора то и дело упрекали за самонадеянность. Но особенно возмущались ханжи, которых много повсюду, а в Англии больше чем в каком-нибудь другом месте. Можно ли так непочтительно отзываться о духовенстве?! Можно ли считать нравственные истины неподвижными и подчиненными умственному развитию! Милые словечки вроде «атеист», «аморалист» в изобилии сыпались со всех сторон. Как ни был Бокль самоуверен, эти осенние мухи ханжества и лицемерия порядочно раздражали его.

Все же успех был несомненен, и даже в денежном отношении восемнадцать лет работы не прошли даром. Когда не было еще распродано первое издание, «Паркер и К°» предложили Боклю пять тысяч рублей за право на второе и не сочли рискованным отпечатать его сразу в двух тысячах экземплярах, хотя раньше боялись отпечатать и пятьсот. Но было уже слишком очевидно, что книга не скоро сойдет с рынка.

Многие иностранные критики, желая унижить Бокля, приписывали успех «Истории цивилизации», главным образом, ее «патриотическому одушевлению». Что в ней есть патриотическое одушевление – это несомненно. Но где тот англичанин, который не считал бы свою страну первой в мире, а ее цивилизацию совершеннейшей! Как ни смел был Карлейль, какие громы ни обрушивал он на современное ему общество, и он все же ставил

свой народ на первый план и отводил ему первое место. Это чисто английская черта и нет ничего удивительного, что мы видим ее у Бокля. Дело, следовательно, не в том, что она существует, а в том, чем аргументируется. В пятой главе первого тома Бокль объясняет причины, по которым его «труд ограничивается историей одной Англии».

«Так как, – говорит он, – величайшая польза, могущая произойти от изучения прошедших событий, заключается в возможности привести в известность законы, которыми они управлялись, то, очевидно, история каждого народа становится для нас тем более ценной, чем менее был нарушаем естественный ход его развития влияниями внешними. Всякое иностранное или внешнее влияние, действующее на какой-нибудь народ, вводит чуждые элементы в его естественное развитие и потому усложняет обстоятельства, которые мы стараемся исследовать. Между тем упрощение всяких сложных явлений составляет во всех отраслях знания существенное условие успеха. Эта истина весьма знакома лицам, изучающим естественные науки; им нередко удастся посредством одного опыта открыть то, чего прежде тщетно добивались путем бесчисленных наблюдений; дело в том, что, производя опыты над явлениями, мы можем отделить от них все, что их усложняет, и, таким образом, поставив их вне влияния неизвестных деятелей, дать им возможность идти, так сказать, своим собственным ходом и раскрыть нам действие их собственного закона.

Итак, вот истинное мерило, по которому мы должны определять значение истории каждого народа. Важность истории какой-либо страны зависит не от блистательности встречающихся в ней подвигов, но от того, в какой степени действия народа проистекали из заключающихся в нем самом причин. Если бы, следовательно, мы могли найти какую-нибудь цивилизованную нацию, которая бы выработала свою цивилизацию сама собою, совершенно избегнув всякого иноземного влияния, и не была бы ни подвинута вперед, ни задержана на пути развития личными качествами своих правителей, то история этой нации была бы важнее всякой другой, потому что она представляла бы условия совершенно нормального и самобытного развития и показала бы нам, как действуют законы

прогресса в состоянии уединения; она была бы как бы готовым для нас опытом и имела бы ту же цену, как те искусственные сочетания обстоятельств, которым естественные науки обязаны столь многими открытиями.

Найти такой народ, очевидно, невозможно, тем не менее, историк-философ обязан избрать для специального изучения такую страну, которая возможно более удовлетворяет этим условиям. Но, конечно, каждый из нас, а также и каждый образованный иностранец согласится с тем, что Англия, по крайней мере в продолжение трех последних веков, удовлетворяла означенным условиям постоянное и успешнее, чем какая-либо другая страна. Я уже не говорю о многочисленности наших открытий, о блеске нашей литературы и об успехах нашего оружия; все это предметы, возбуждающие народную зависть, и другие народы, может быть, откажут нам в признании этих преимуществ, которые мы легко можем преувеличивать. Но я ограничиваюсь единственно тем положением, что в Англии долее, чем в каком-либо из европейских государств, правительство оставалось совершенно спокойным, между тем как народ был в высшей степени деятелен; в Англии свобода нации установилась на самом широком основании: там каждый человек имеет полную возможность говорить, что думает, и делать, что хочет; всякий следует своему образу мыслей и открыто распространяет свои мнения; так как в Англии почти не знают преследований за религию, то в этой стране можно ясно видеть развитие человеческого ума, не стесненное теми преградами, которые ограничивают его в других странах. В этой стране открытое исповедание ереси наименее опасно и отступление от господствующей церкви наиболее обыкновенно; убеждения, враждебные одно другому, процветают рядом и возникают и исчезают беспрепятственно, согласно с потребностями народа, не подчиняясь желаниям церкви и не подвергаясь контролю государственной власти; все интересы и все классы, как духовные, так и светские, там более, чем где-либо, предоставлены самим себе; там впервые подверглось нападению учение о вмешательстве, называемом покровительственной системой; там только и была уничтожена эта система, – одним словом, в одной Англии умели избегнуть тех опасных крайностей, до которых доводит вмешательство,

вследствие чего и деспотизм, и восстания там одинаково редки; а как при том признана основанием политики система уступок, то *ход народного прогресса в Англии наименее был нарушаем могуществом привилегированных сословий, влиянием особых сект или насильственными действиями самовластных правителей.*

Что таковы характеристические черты истории Англии – это не подлежит сомнению: для одних это составляет источник похвалы, а для других – сожаления. Если же к этим обстоятельствам присовокупить то, что Англия по своему положению, отдельно от материка, до половины прошлого века была редко посещаемая иностранцами, то становится очевидным, что мы в ходе нашего народного прогресса менее всех других наций подвергались действию двух главных источников вмешательства: фанатизма и влияния иностранцев».

Что же такое «История цивилизации в Англии» – этот труд, популярный еще и теперь, через тридцать с лишком лет после своего появления, и притом такой, которому я, по крайней мере, осмеливаюсь предсказать новое славное возрождение, как только отхлынет эта волна мистицизма, символизма, чуть ли не шаманизма, разлившаяся теперь по Европе? Разумеется, полной оценки книги Бокля я здесь дать не могу; мне придется ограничиться лишь некоторыми идеями и общими замечаниями.

Полагаю, что первая и, быть может, главнейшая заслуга Бокля заключается в том, что он ввел в среду исторического исследования данные статистики и политической экономии и собственным своим примером показал, как расширяется кругозор историка, если он основательно изучит эти две науки.

Статистика, собственно, послужила Боклю для доказательства философского положения о несвободе человеческой и о правильности человеческих поступков. Прочтя лишь одни заглавия таких параграфов, как «Дела человеческие порождаются предшествующими явлениями в человеческом духе или во внешней природе», «Статистика доказала правильность человеческих действий на убийствах и других преступлениях», «Подобное же доказательство на самоубийствах», «Доказательство этой правильности на числе браков, ежегодно совершаемых», «Доказательство ее на числе писем с не выставленным на них адресом», легко уже понять цель, к которой стремится Бокль. Ему прежде всего надо заполнить пропасть между естествознанием и историей, опровергнуть мысль, будто в делах человеческих есть

нечто таинственное и предустановленное, что делает их недоступными для нашего исследования и навсегда заслоняет от нас их дальнейший ход, – надо, словом, ответить на вопрос, «управляются ли действия людей, а следовательно, и общество неизменными законами, или же они составляют результат случая и сверхъестественного вмешательства». Опираясь на выводы статистики, Бокль без всякого колебания утверждает, что «нравственные действия людей суть не результат воли, а продукт предшествующих обстоятельств».

Вывод этот может показаться странным. Когда я беру шляпу и отправляюсь гулять, или сажусь за работу, или еду в церковь венчаться, мне даже не приходит в голову мысль о том, что мой поступок является результатом действия известных непреложных законов. Сознание того, что я хочу и поступаю так, а не иначе, именно потому, что хочу поступить так, а не иначе, слишком во мне, слишком для меня очевидно, чтобы сразу же отказаться от него и представить себя марионеткой, которую дергают за ниточку «законы» и «общие причины», а она прыгает, скачет, падает, бегаёт. Бокль испугался такого вывода. По его мнению, «действия отдельных лиц в значительной степени подлежат влиянию их нравственных чувств и страстей».

«Но, – продолжает он, – чувства и страсти эти, приходя в столкновение с чувствами и страстями других лиц, уравниваются этими последними так, что в общем ходе человеческих действий влияния их вовсе не видно; и совокупность действий рода человеческого, рассматриваемых как одно целое, зависит единственно от суммы знаний, которой люди обладают. А каким именно образом поглощаются и нейтрализуются личное чувство и личная прихоть – этому мы находим полное объяснение в приведенных выше фактах из истории преступлений. Факты эти решительно доказывают, что в итоге преступлений, совершаемых в той или иной стране, год за годом повторяется одна и та же цифра с самым изумительным однообразием, несколько притом не подчиняясь влиянию прихоти и личных чувств, которыми слишком часто хотят объяснить человеческие действия. Но если бы мы вместо того, чтобы рассматривать историю преступлений по годам, разделили ее по месяцам, то нашли бы гораздо меньше правильности; если бы, наконец, рассмотрели эту историю по часам, то правильность совсем бы исчезла; точно так же ее не было бы видно и в том

случае, если бы вместо уголовной летописи целой страны мы знали только летопись одной улицы или одного семейства. Это происходит оттого, что великие общественные законы, которыми управляется преступление, могут быть замечены лишь при наблюдении над большим числом людей или долгим периодом времени, но в меньшем числе лиц и в короткое время индивидуальное нравственное начало берет верх и нарушает порядок действия общего умственного закона. Следовательно, нравственные чувства, побуждающие человека совершить преступление или воздержаться от него, имеют огромное влияние на итог личных преступлений этого человека, но не имеют никакого значения относительно общего итога преступлений, совершаемых в том обществе, в котором он живет, так как они с течением времени непременно нейтрализуются противоположными им нравственными чувствами, вызывающими в других людях противоположный образ действия. Точно так же всем известно, что почти все наши действия находятся под влиянием нравственных начал, а между тем мы можем найти неоспоримые доказательства, что начала эти не производят ни малейшего действия на человечество, *взятое в совокупности*, ни даже вообще на значительные массы людей; для этого нам стоит только изучать общественные влияния за такие продолжительные периоды времени и в таких больших размерах, в которых можно было бы различать чистое действие главных законов».

Итак, что же должен изучать историк: закон или личность, общие явления или индивидуальные? Для Бокля не может быть двух ответов на этот вопрос, ибо, признав статистические, то есть массовые, данные своим руководителем, он тем самым покончил с «культом героев» – теорией, в его время, благодаря громадному влиянию Карлейля, очень модной. «Всемирная история, – говорит Карлейль в своем „Культе героев“, – есть, в сущности, как я понимаю ее, история действующих в мире великих людей. Они были руководителями массы – эти великаны, созидателями, образцами, творцами всего, что стремилась создать и чего стремилась достигнуть человеческая толпа. Все, что мы видели осуществленным в этом мире, есть собственно внешний материальный результат, осуществление и воплощение на практике идей, живших в великих людях, ниспосланных миру.

Душой всемирной истории – по справедливости следует признать это – была их история». В этом взгляде, с установленной точки зрения, верно только одно. При той бессознательности и стихийности, с которой совершалась до сих пор всегда и везде общественная эволюция, действительно только личности, официальные и моральные руководители массы, совершали общественно целесообразные поступки. Но зато эти единичные действия личностей всегда наталкивались на косность массы, и отдельные целесообразные поступки не влекли за собой прочных общественно целесообразных результатов.

История в таком случае является не цепью случайных событий, не переплетом произвольных поступков и неожиданных, ничем не обусловленных явлений, а взаимодействием природы и человека и картиной перемен, являющихся результатом этого взаимодействия. С одной стороны, у нас есть дух человеческий, который подчиняется законам собственного существования и, будучи поставлен вне влияния посторонних сил, развивается согласно условиям своей организации. С другой стороны, мы имеем так называемую природу, которая тоже повинуетя своим законам, но беспрестанно приходит в столкновение с духом людей, возбуждает их страсти, подстрекает их ум и дает, таким образом, их действиям то направление, которого они не приняли бы без этого постороннего вмешательства. «Итак, мы имеем человека, действующего на природу, и природу, действующую на человека, а из этого взаимодействия проистекает все, что случается...»

Определив почву исследования – природу и дух человеческий, расчистив для него поле, то есть устранив теорию свободной воли и признав областью истории «взаимодействие», Бокль уделяет несколько страниц бесполезному теперь вопросу, «сильнее ли влияние физических явлений на мысли и желания людей» или, наоборот, сильнее влияние «законов природы на устройство общества и характер отдельных лиц», и вслед за Монтескье утверждает, что «человек подвергается влиянию четырех естественных деятелей: климата, пищи, почвы и общего вида природы». Но он идет дальше Монтескье в том смысле, что обращает главное свое внимание не на духовные, а на экономические последствия физических деятелей.

Параграфы о влиянии этих деятелей на накопление богатств и их распределение очень важны для понимания теории Бокля. «Рассматривая, – говорит он, – историю богатства на его первых ступенях, мы находим совершенную зависимость его от почвы и климата; почвой обуславливается вознаграждение, получаемое за данную сумму труда, а климатом – энергия и постоянство самого

труда». Роль же накопления богатства в истории цивилизации громадна.

«В диком состоянии общества первый важный шаг вперед составляет накопление богатства, ибо без богатства не может быть досуга, а без досуга не может быть знания. Если то, что потребляет народ, всегда совершенно равняется тому, что он имеет, то не будет остатка, не будет накапливаться капитал, а следовательно, не будет средств к существованию для незанятых классов. Но когда производство сильнее потребления, то образуются излишки, которые по известным законам сами собой возрастают и, наконец, становятся запасом, за счет которого, непосредственно или посредственно, содержится всякий, кто не производит того богатства, которым живет. Только с этого времени и делается возможным существование мыслящего класса, ибо только с этого времени начинается накопление в запас, с помощью которого люди могут пользоваться тем, чего не производили, и получают, таким образом, возможность предаться таким занятиям, для которых прежде, когда они находились под гнетом ежедневных потребностей, у них не доставало бы времени».

Когда богатства созданы, возникает вопрос об их распределении, то есть о том, в какой пропорции они достаются низшим и высшим классам. По мнению Бокля,

«на первых ступенях общежития и прежде, чем начнутся его позднейшие утонченные запутанности, можно, мне кажется, доказать, что распределение богатства так же, как и его производство, подчиняются исключительно физическим законам и что притом сила действия этих законов так велика, что они постоянно удерживают огромное большинство жителей самой лучшей части земного шара в состоянии постоянной, безысходной бедности. Если можно доказать это, то огромная важность таких законов очевидна. Так как богатство есть несомненный источник силы, то ясно, что при равенстве других условий исследование распределения богатства есть исследование распределения силы, а при таком значении этого исследования оно должно пролить значительный свет на происхождение тех общественных и политических неравенств, из действия и противодействия которых складывается

значительная часть истории всякой цивилизованной страны.

Бросив общий взгляд на этот предмет, мы можем сказать, что с того времени, как начинается, наконец, настоящее производство и накопление богатства, это последнее распределяется между двумя классами – между трудящимися и нетрудящимися, из коих последние, в совокупности взятые, способнее, а первые многочисленнее. Запас, за счет которого содержатся оба класса, непосредственно производится низшим классом, физические силы которого направляет, совокупляет и как бы сберегает большее умение высшего класса. Вознаграждение работников называется их задельной платой, а вознаграждение предпринимателей – их прибылью. В позднейшее время возникает класс, который можно назвать сберегающим; это класс людей, которые, не будучи ни предпринимателями, ни работниками, ссужают своими сбережениями предпринимателей и в награду за такую ссуду получают часть вознаграждения, достоящегося предпринимателю классу. В этом случае члены сберегающего класса вознаграждаются за воздержание от растраты своих сбережений, и вознаграждение это называется процентом на их деньги; таким образом, являются три подразделения богатства: процент, прибыль и задельная плата».

Влияние физических деятелей на размер задельной платы особенно ясно. Вопрос о заработной плате есть, в сущности, вопрос о народонаселении, так как часть, получаемая каждым работником, должна уменьшаться по мере того, как увеличивается число тех, которые заявляют на нее притязание. Прирост же населения зависит от обилия пищи, то есть от законов климата.

Бокль в своих рассуждениях несомненно стоит на высоте политико-экономических сведений 50-х годов. Вместе с Мальтусом он признает, что народонаселение возрастает быстрее, чем средства производства, отсюда – роковая необходимость периодических голодовок; вместе с Рикардо и Миллем он допускает существование общего фонда заработной платы, откуда каждый рабочий получает свою частицу; вместе с буржуазными экономистами он объясняет процент тем, что члены сберегающего класса вознаграждаются за воздержание от растраты своих сбережений.

Важны, однако, не экономические воззрения Бокля, давно уже похороненные на обширном кладбище буржуазных теорий, вожделений и великодушных попыток оправдать даже с высоконравственной точки зрения резание купонов, – важно, что он один из первых философов истории понял, какую роль может сослужить политическая экономия и исследование экономических явлений для понимания истории. Ведь громадное умственное движение «реабилитации плоти», начавшееся еще в XIV столетии, – движение, признавшее законность земного счастья, прогрессивную силу земных наслаждений, – оставалось без прочного фундамента, пока не перестали относиться с презрением к потребности человека есть и одеваться, пока не поняли, что эта потребность основная.

Историческое влияние низкой заработной платы Бокль красноречиво и даже художественно объясняет на примерах Индии и Египта.

«От особенностей климата и пищи, – говорит Бокль, – произошло в Индии то неравномерное распределение богатства, которое всегда должно оказываться в странах, где рынок труда бывает постоянно переполнен. Просматривая самые ранние из сохранившихся сведений об Индии, – сведениям этим от двух до трех тысяч лет, – мы находим следы порядка вещей, подобного существующему в настоящее время, – порядка, который – мы можем быть в этом уверены – всегда существовал, с самого того времени, как началось настоящее накопление богатства. Мы находим, что высшие классы непомерно богаты, а низшие жалко бедны; находим, что те, чьим трудом производится богатство, получают возможно меньшую долю его, остальная же часть поглощается высшими классами в виде ренты или в виде прибыли. *А так как богатство составляет после ума самый постоянный источник силы,* то естественным образом такое неравномерное распределение богатства сопровождалось столь же неравномерным распределением общественного и политического влияния. Неудивительно после этого, что в Индии с самых ранних времен, к каким восходят наши сведения о ней, огромное большинство народа, угнетенное жесточайшей бедностью и перебивающееся, так сказать, со дня на день, всегда оставалось в состоянии бессмысленного унижения, изнемогая под бременем непрерывных несчастий, пресмыкаясь в

гнушной покорности перед сильным и проявляя способность только к тому, чтобы или самим быть рабами, или служить на войне орудием порабощения других».

И дальше:

«В Индии рабство, низкое, вечное рабство было естественным состоянием значительного большинства народа; на это состояние он обречен был физическими законами, решительно не допускавшими сопротивления. И в самом деле, сила этих законов так непреодолима, что везде, где только проявилось их действие, они держали производительные классы в постоянном подчинении. Нет примера в истории, чтобы в какой-нибудь тропической стране, при значительном накоплении богатства народ избегнул такой судьбы; нет примера, чтобы вследствие жаркого климата не оказалось избытка пищи, а вследствие избытка пищи – неравномерного распределения сперва богатства, а за ним и политического, и общественного влияния. В нациях, подчиненных этим условиям, народ считался ничем; он не имел никакого голоса в государственном управлении, никакого контроля над богатством, плодом его же трудолюбия. Единственным делом его было трудиться, единственной обязанностью – повиноваться. Вот где начало того расположения к тихой, раболепной покорности, которое, как мы знаем из истории, было всегда отличительной чертой таких народов. Тот несомненный факт, что летописи этих народов не представляют нам ни одного примера восстания против правителей, ни одной борьбы сословий, ни одного народного восстания, ни даже значительного народного заговора. В этих богатых и плодородных странах много было перемен, но все они начинались сверху, а не снизу. Демократического элемента в них решительно не доставало. Было множество войн царей, войн династий, были перевороты в правительстве, перевороты во дворце, перевороты на троне, но их вовсе не было в народе; не было никакого облегчения той тяжелой доли, которую он терпел скорее от природы, чем от человека».

Повторяю, в таком громком признании важности экономического фактора для понимания исторических явлений и заключается серьезная заслуга Бокля. Он видел, что политическая

экономия даст основание для связи законов физических явлений с законами неравного распределения богатств, а отсюда и общественных неурядиц.

Но отсюда до экономического материализма, до признания за экономическими явлениями первенствующей роли в истории еще очень далеко. Бокль – англичанин и человек третьего сословия, органически примыкавший к нему по складу своего ума, своим убеждениям, идеалам, – словом, радикал в лучшем смысле этого слова, из типа тех, кто редактировал декларацию прав, билль о реформе, уничтожение акта о неправоиспособности католиков, евреев, наконец, свободный мыслитель – уже по самому существу своей натуры не мог утвердиться на экономической точке зрения. Вместо борьбы классов и неравномерного распределения богатств Бокль сделал центром своего исследования историю умственного развития. Для него несомненно, что движение цивилизации определяется умственными деятелями, что им человечество обязано веротерпимостью и ослаблением воинственного духа, что вообще *все изменения, происходящие в жизни образованного народа, зависят только от трех условий: во-первых, от количества знаний, которым владеют люди, наиболее развитые; во-вторых, от направления, принятого этими знаниями, то есть от того, какой разряд предметов они обнимают; в-третьих, от объема и распространенности этих знаний и от свободы, с которой они проникают во все классы общества.*

Совершенно естественно поэтому, что искание законов истории подменяется у Бокля исканием законов умственного развития.

К такому ограничению Бокль подошел вполне сознательно. Сначала он доказал, что духовные законы важнее для истории Европы (а значит и всей цивилизации), чем законы физические. Оставалось сделать другой шаг и показать, что из двух разрядов духовных законов – нравственных и умственных – первые играют подчиненную роль, роль исторических статистов, а не двигателей. Этому посвящена знаменитая четвертая глава первой части первого тома, – глава, вызвавшая против Бокля такую ожесточенную бурю со стороны европейских ханжей.

«Возникает, – говорит Бокль, – важный вопрос: который из двух элементов духовного развития важнее? Если движение цивилизации и вообще благосостояние рода человеческого зависит более от нравственных чувств, чем от умственных, то мы естественно должны этими чувствами измерять движение цивилизации, но если, наоборот, оно зависит, главным образом, от наших знаний, то мы должны принять за мерилло объем и успех умственной деятельности».

Для Бокля несомненно, что нравственные истины не могут влиять на движение цивилизации, так как сами они неподвижны.

«Приложив, – говорит он, – известный нам признак к нравственным побуждениям или указаниям так называемого нравственного инстинкта, мы сейчас увидим, до какой степени слабо влияние, оказанное этими побуждениями на успехи цивилизации. Неоспоримо, что в целом мире нет ничего такого, что бы изменилось так мало, как те великие догматы, из которых слагаются нравственные системы. Делать добро другим, жертвовать для их пользы своими собственными желаниями, любить ближнего как самого себя, прощать врагов, обуздывать свои страсти, чтить родителей, уважать тех, которые поставлены над нами, – в этих правилах и еще в нескольких других заключается вся сущность нравственности, и к ним не прибавили ни одной йоты все проповеди, все наставления и собрания текстов, составленные моралистами и богословами.

Но если мы сравним это неподвижное состояние нравственных истин с быстрым движением вперед истин умственных, то найдем самую разительную противоположность. Все великие нравственные системы, имевшие большое влияние на человечество, представляли в сущности одно и то же. В ряду правил, определяющих наш нравственный образ действия, самые просвещенные европейцы не знают ни одного такого, которое бы не было также известно древним. Что же касается до деятельности нашего ума, то люди позднейших времен не только сделали значительные приобретения по всем отраслям знания, какие пытались изучать в древности, но и совершили решительный переворот в старых методах исследования: они соединили в одну обширную систему все те средства наведения, о которых только смутно помышлял Аристотель, и создали такие науки, о которых и самый смелый мыслитель древности не имел ни малейшего понятия».

Отсюда ясен вывод: «Если цивилизация есть произведение умственных и нравственных факторов и если это произведение подвержено непрерывным изменениям, то очевидно, что характер его определяется не неизменным фактором, потому что в неизменяющейся обстановке неизменный фактор может производить только неизменное действие. Изменяется же один

умственный фактор, который и есть поэтому *истинный* двигатель цивилизации».

Легко видеть, как Бокль незаметно для самого себя с положительной точки зрения перешел на метафизическую. Есть ли в действительности неизменные факторы? Могут ли быть такие? Все относительно; «все течет, все изменяется, ничто не остается неизменным», – сказал еще Гераклит, а Бокль quasi научно доказывает неизменность нравственных чувств и понятий. Достаточно сравнить нравственность курицы и человека, каннибала и Парнелля, чтобы заподозрить справедливость вывода Бокля. Он прав лишь в том отношении, что нравственная эволюция менее заметна, чем умственная. Умственная то и дело претерпевает изменения, как бы от действия вулканов, нравственная же не отличается слишком резкими и энергичными переворотами. Ее можно сравнить с рядом изменений, производимых на поверхности земли водой: Амазонке, например, потребовались века и даже тысячелетия, чтобы образовать острова в своем устье.

Но само заблуждение Бокля в высокой степени характерно. На самом деле, рационализм XVIII века, безусловная вера в могущество разума нашли свое завершение в его книге. Он – философ истории, субъективная сторона взглядов которого безраздельно принадлежит третьему сословию. Ведь с выступлением последнего на историческую сцену взгляды на нравственность радикально изменились. Духовенство искало опору для них в религии, рыцарство – в чувстве чести, буржуазия – в расчете. Явилась теория просвещенного эгоизма, по которой человек совершает доброе во имя личной своей выгоды. Но для этого нужен расчет и расчет, и чем больше расчета, то есть деятельности рассудка, тем лучше.

То же говорит и Бокль, сводя всю историю цивилизации к истории умственного развития, а законы истории – к законам умственного развития, сравнительно с которым эволюция экономическая и нравственная играют второстепенную роль.

Нет поэтому ничего удивительного, что всю свою философию истории Бокль сводит, в конце концов, к четырем основным положениям:

первое – то, что прогресс человечества зависит от успеха, с которым разрабатываются законы явлений, и от меры распространения знания этих законов;

второе – что подобной разработке должен всегда предшествовать дух скептицизма, сначала помогающий исследованию, а после, в свою очередь, развиваемый им;

третье – что открытия, делаемые таким образом, усиливают

влияние умственных истин и относительно, хотя и не вполне, ослабляют действие нравственных, потому что нравственным истинам более свойственно состояние застоя и они гораздо слабее развиваются, чем умственные;

четвертое – что задержка этого движения, а следовательно, и цивилизации, есть дух излишней опеки. Этим Бокль хочет сказать, что общество не может процветать до тех пор, пока жизнь его находится почти во всех отношениях под чрезмерным контролем.

Не стану распространяться о том, с каким блестящим остроумием, какой поразительной силой красноречия и каким грандиозным запасом сведений, а подчас с каким поистине художественным талантом Бокль доказывает свои «основные положения». На суд истории он вызывает все страны и все народы; он не пренебрегает ни Египтом, ни Центральной Америкой, ни Россией, чтобы сделать свою аргументацию полной и всесторонней. Он всегда настороже, всегда во всеоружии критики, всегда, по возможности, беспристрастен.

Я говорю «по возможности». Как ни благородна и ни высока мечта сделать из истории строгую науку и отдел естествознания, пока это лишь мечта, не больше. В самых абстрактных, отвлеченнейших выводах проявляется личность их творца, его темперамент, общественное положение, национальность. Каждый из этих могущественных факторов кладет печать на выводы и формулы.

Возьмите, например, четвертый закон Бокля, который он доказал с особенным блеском и тщательностью, посвятив этому доказательству всю вторую часть первого тома. Закон гласит: *«Задержка цивилизации есть дух излишней опеки»*. Стоит только вдуматься в него, чтобы угадать национальность Бокля, и мы прямо бы сказали, что он – англичанин, если бы даже не знали этого. В английском законодательстве, политическом строе, нравственном мировоззрении частичка self (само-) играет роль большую и даже первенствующую. Self-help – самопомощь, self-reliance – самоопора, self-government – самоуправление, self-activity – самодеятельность – вот четыре опоры мирозерцания всякого правоверного англичанина. Отрицая опеку и централизацию, рисуя яркими красками их вред, Бокль тем самым проповедует самодеятельность и самоуправление.

Бокль так увлекается своим англиканским правоверием, что в лучших своих главах, именно во всей второй части первого тома, забывает свое же положение о ничтожном влиянии правителей и обрушивается с жестокими обвинениями на Людовика XIV и его преемников. «Умственный упадок, – говорит он, – проявлялся при

Людовике XIV во всех областях мысли и был естественным следствием покровительства», то есть деятельности Кольбера и самого короля. В другом месте он выражается еще яснее и решительнее: «Рассмотрев положение Франции тотчас по смерти Людовика XIV, мы увидели, что, когда его политика привела страну к краю гибели и уничтожила всякую тень свободного исследования, реакция сделалась необходимой». Слишком много чести оказывает Бокль в этих строках и Людовику XIV, и его политике; мало того, он совершенно забывает предостережение, высказанное им же самим своим собратьям-историкам.

Эти-то субъективные элементы мышления Бокля, его правоверный англиканизм, его буржуазное свободомыслие, которое сводит задачу цивилизации к эмансипации ума, мысли, а не цельного человека с его потребностью есть, одеваться, любить и быть уверенным в завтрашнем дне, заставляет нас видеть в законах Бокля очень остроумные формулы, относительно справедливые, но недостаточно широкие. Думаю, однако, что его заслуги не становятся от этого меньше. Он был передовым человеком своего времени и шел по верной дороге. Не его вина, что в его время, например, антропологии почти не существовало, почему он и игнорирует расовый элемент в эволюции жизни отдельных народностей; также не его вина, что торжествующей, общепризнанной политической экономией была та, которую создали гении третьего сословия. Адам Смит был, несомненно, великим мыслителем, но это несколько не мешало ему восторгаться тем обстоятельством, что, благодаря разделению труда, рабочий изготавливает в день чуть ли не миллион булавочных головок, «совсем как машина!..»

Но, повторяю, Бокль шел по верной дороге. С его методом, его приемами можно достигнуть того, что история на самом деле станет наукой. Он сам сказал в свое оправдание прекрасные слова, которые нам остается лишь повторить:

«Предоставляю компетентным судьям решить вопрос, сделал ли я что-нибудь истинно важное. Но, по крайней мере, я убежден, что какие бы несовершенства не заметили у меня, их следует приписать не предлагаемому методу, а крайней трудности привести одному человеку все части столь обширного плана в полное действие. Только в этом и в этом одном я нуждаюсь в большом снисхождении. Что касается до плана, то я за него вовсе не боюсь: я глубоко убежден, что наступает время, когда история человечества станет на надлежащую почву, когда изучение ее будет признано

самым высоким и самым трудным делом. Когда это будет вполне осознано, историю станут писать только те, кто по складу ума своего способен к этому занятию, и она будет исторгнута из рук биографов, генеалогов, собирателей анекдотов, летописцев о дворах, государях и аристократах, из рук вздорных рассказчиков, которые прячутся за каждым углом и делают опасною большую дорогу нашей литературы. Что подобные компиляторы переходят в область, далеко превышающую их силы, и думают, что такими средствами можно пролить свет на дела людей, – вот одно из многих доказательств, в каком отсталом состоянии находятся наши знания и как смутно обозначены их надлежащие пределы. Если мне удалось хоть сколько-нибудь уничтожить доверие к подобным трудам и внушить историкам сознание достоинства их занятия, то я уже оказал – хотя и небольшую – услугу своему времени, и я останусь вполне доволен этим, хотя мне и указали, что во многих случаях мне и не удалось выполнить первоначальный план. Охотно соглашаюсь, что в этом томе есть много случаев подобной неудачи, но в оправдание свое я могу указать на громадность предмета, краткость нашей жизни и несовершенства любого дела каждого отдельного человека. Я желаю, чтобы этот труд судился не по законченности отдельных его частей, а по тому способу, той идее, которыми эти части слиты в полное и симметричное целое...»

Sibi justus justissimus,^[8]

– прибавим мы от себя.

Глава IV. Бокль в обществе

В 1860 году умерла мать Бокля – dear Janny, как он ее звал всегда, умерла после долгой мучительной болезни, длившейся многие годы. Ее последний взгляд был обращен на сына и его книгу, которая постоянно лежала рядом с ней на ночном столике, заставленном рядами склянок с лекарствами. Бокль не вынес ее агонии, он бросился в свой кабинет и здесь, с глазами, полными слез, в нервном болезненном возбуждении написал горячую страницу в защиту бессмертия души. Он как бы вспомнил в эту минуту все доказательства знаменитого автора «Подражания Христу» и выводил бессмертие из страстной потребности видеть любимое существо за гробом, из невозможности такого безмерно жестокого удела, как вечная разлука. Эта написанная им страница – своеобразная песнь человеческого горя и измученного сердца, стон отчаяния, когда гордый разум отказывается от своей гордости и с детской беспомощностью бросается на колени перед роковой тайной мироздания и в блеске звезд, молчании неба ищет возможность уловить отклик своих страстей, своих желаний... Но —

Катятся волны с их шумом обычным,
Ветер несется и тучи несет,
Звезды мерцают в сияньи бесстрастном,
Бедный безумец ответа все ждет.

Прошла минута безумия, и Бокль снова ушел в свою работу, забывая в творчестве свое горе и свою слабость. После смерти матери, его единственного лучшего друга всей жизни, он остался совершенно одиноким. Некому уже было ему перечитывать страницы своей рукописи по мере их создания, некому было поверять свои грандиозные замыслы – все еще грандиозные, несмотря на ограничения, – от которых тревожно и вместе с тем сладко замирало сердце.

Второй том его «Введения» сделал его имя еще более популярным. Письма то восторженные, то бранные летели к нему со всех концов Европы, иногда от людей совершенно необразованных, которые «осмеливались сердечно потрясти руку, написавшую „Историю цивилизации“. Некий русский путешественник (a gentleman russe), интересный для нас исключительно как соотечественник, навестил Бокля и сообщил ему, что русская молодежь запоем читает его книгу и видит в ней

откровение (a revelation)... Даже испанцы перевели „Историю“ на свой язык...

Только критика продолжала будировать. Она раздражала Бокля, постоянно и неделикатно говоря ему, что начатого им дела он не закончит никогда, что его невозможно кончить. Эта мысль о невозможности преследовала его самого, но он старался приободрить себя, говоря: «Они (господа критики) не знают, сколько материала собрано мной. На каждый новый том введения мне надо лишь по два года. Будет еще 10–12 томов. Неужели же я не проживу 20–25 лет?..»

Но последние страницы второго тома оказались лучшими, последними страницами его сочинения. В них дает он нам свое завещание.

«Детская и безграничная вера, – говорит он, – с которой некогда принималось учение о вмешательстве, сменилось теперь холодным и безжизненным признанием его, нисколько не похожим на энтузиазм прежних времен. Скоро и это исчезнет, и люди перестанут тревожиться призраками, созданными их же собственным невежеством. Наш век, быть может, не увидит этого освобождения, но как верно то, что ум человеческий идет вперед, так же верно и то, что наступит для него год освобождения. Быть может, он придет скорее, чем кто-либо думает, ибо мы идем вперед скоро и большими шагами. Знаменья времени всюду вокруг нас, и кто хочет читать – да читает. Письмена горят на стене; приговор произнесен, древнее царство суеверия должно пасть, владычество призраков, уже распадающееся, должно рухнуть и рассыпаться прахом; новая жизнь вдохнется в нестройную хаотическую массу и ясно покажет, что от начала создания ни в чем не было противоречия, разлада, беспорядков, перерывов, вмешательства, но что все совершающееся вокруг нас, до отдаленнейших пределов материальной вселенной, представляет только различные части единого целого, которое все проникнуто единым великим началом всеобщей и неуклонной правильности».

Смирение перед истиной, жажда овладеть ею, вера в ее победоносное пришествие, ее торжество, ее благо – вот смысл этих строк, вот завещание Бокля.

Воспоминания мистрис Гёз хорошо рисуют нам Бокля в обществе, поэтому и переходим к ним.

«Мы – я и муж – познакомились с Боклем в 1857 году. Еще

задолго до этого нам восторженно говорил о нем мистер Капель, его друг, сообщивший между прочим, что Бокль пишет „Историю цивилизации“. Мистер Капель никогда не брал ни одной книги из нашей библиотеки, не посоветовавшись с Боклем, стоит ли читать ее. Когда я хвалила какого-нибудь автора, мистер Капель неуклонно замечал, что моя похвала преувеличена, так как мистер Бокль находит в авторе такие-то и такие недостатки. „Не пожелает ли мистер Гёз познакомиться с мистером Боклем?“ – спросил однажды Капель. Мистер Гёз скромно отклонил предложение, уверяя, что скромность не позволяет ему отнимать время у джентльмена, в библиотеке которого 22 тысячи книг, им прочитанных и проштудированных. Я очень обрадовалась отказу мужа, так как положительно ненавидела этого ужасного „мистера Бокля“, чье имя в устах мистера Капелья являлось как бы нарочно для того, чтобы противоречить мне. Бокль знает все – это я слышала много раз и не без злорадства спрашивала: что же он сделал? Поэтому мы были сильно удивлены, когда однажды вечером мистер Капель сказал нам: „Я передал моему другу Боклю ваше желание познакомиться с ним. Он рад видеть вас, если вы сделаете честь навестить его“. Делать нечего, мой муж отправился на Oxford Terrace № 59 и, не застав Бокля дома, оставил свою карточку. Прошло несколько дней, и как-то утром мистер Капель снова является к нам сильно возбужденный. „Будете ли вы сегодня дома часов в шесть? – спросил он и прибавил торжественно: – Я приду к вам вместе с моим другом Боклем“. Согласно этому обещанию, я увидела „всезнающего“. В первое свидание разговор вертелся, главным образом, вокруг вопросов воспитания, и Бокль сильно нападал на систему обучения иностранным языкам. Он хотел, чтобы грамматика была отодвинута на задний план. Желая меня зарекомендовать своему знаменитому другу, мистер Капель заметил, что я занимаюсь минералогией. Бокль посоветовал мне не заниматься мелочами, утверждая, что женщине нечего увлекаться техническими и специальными подробностями, а достаточно общего взгляда на науку. Когда я сказала, что занимаюсь для того, чтобы помогать своему сыну, он вполне одобрил мою цель, прибавив, что „постоянное общение с образованной и развитой матерью – лучшая школа для детей“.

При следующем свидании я попросила у Бокля совета насчет чтения по истории; он сказал на это, что большинство читает слишком много и слишком мало думает, что при чтении надо делать как можно больше выписок и почаще их пересматривать. Он рекомендовал мне читать Лингарда не только потому, что это хороший писатель, но и потому еще, что мне, как ортодоксальной

протестантке, было бы полезно ознакомиться с противоположной точкой зрения на предмет.

С первого же свидания я убедилась, что умственные дарования Бокля представляют из себя нечто из ряда вон выходящее. Но сам он показался мне холодным, нечувствительным человеком, для которого отдельный человек не значит ничего и чьи помыслы устремлены лишь на интересы массы, большинства. Мало-помалу, однако, я убедилась, что мое мнение далеко не справедливо. Я увидела, что в Бокле два человека: один – тот самый, который написал «Историю цивилизации» и всегда в своих рассуждениях становился на самую широкую и отвлеченную точку зрения, с которой счастье личности сравнительно с общим благом не значит ничего; другой – нежный и внимательный даже к детям, их маленьким радостям и горестям.

У Бокля было правило не делать в день больше одного визита. Придя в гости, он никогда не сидел больше двадцати минут, но за эти двадцать минут, при его словоохотливости, можно было узнать бездну полезного. Он часто спорил со мной, но никогда не раздражался. Напротив, спокойно сидя в кресле или на софе, он, ни разу не повышая голоса, разбивал мои аргументы шаг за шагом и, раз убедившись, что я поняла его, немедленно брал шляпу, грворил «good bye» и уходил своим крупным неторопливым шагом.

Прочтя первый том «Истории цивилизации», я была удивлена почти полным умолчанием об изящных искусствах. «Неужели же, – спросила я Бокля, – вы не признаете их влияния на цивилизацию?» «Нет, не признаю, – был ответ. – Время изящных искусств еще не пришло». Развивая свою мысль, Бокль заметил, что в ту эпоху, когда изящные искусства достигли высшего своего расцвета, люди едва-едва начинали изучать природу. Гении наших дней поглощены исследованием законов вселенной, и изящные искусства до тех пор будут стоять на заднем плане, пока научные задачи не найдут своего разрешения. Только тогда, а не раньше, великие дарования будут иметь достаточно свободного времени, чтобы заняться искусством.^[9] Если бы Леонардо да Винчи, величайший гений своей эпохи, жил в наши дни, он был бы естествоиспытателем. Истинный поэт XIX века – Фарадей. Ведь чтобы быть поэтом, не надо писать стихов, нужно иметь дар творчества, проникновения, а Фарадей на самом деле владел им. Работа, лежащая перед разумом человеческим, грандиозна и увенчается, в конце концов, решением основного вопроса о духе и материи. Бокль верил, что этот вопрос разрешим.

«...Грешно ли убивать себя?» – спросила я однажды.

«Пожалуй, – отвечал Бокль, – так как в 99 случаях из ста самоубийство – результат нетерпеливости или трусости. Пока на свете есть хоть одно существо, кого огорчит наша смерть, мы не имеем права поднимать на себя руку. Но если существует на свете человек, безусловно одинокий и страдающий, притом мучительной и неизлечимой болезнью, то, право, я не вижу вреда, если он примет лаудану. Общество, однако, право, считая самоубийство преступлением; оно так же право, как отец, наказывающий своего ребенка за ложь. Ложь обыкновенно, но отнюдь не необходимо вытекает из дурных мотивов, так же и самоубийство. Но можно лгать без всякого злого умысла. Что за вред, если я скажу, что $2 + 3 = 6$? Что за беда, если я, больной, одинокий, никому ненужный, убью себя?»

«...Философы, – сказала я однажды, – постоянно толкуют об общем деле, но все их теории не приносят ни малейшего утешения личностям». «Обязанность мыслителей и философов, – отвечал Бокль, – открывать и распространять истину, а не утешать страдающих. Впрочем, отрицая возможность загробного возмездия, философия тем самым делает наш взгляд на жизнь более отрадным. Наказание существует только здесь, на земле, и, прибегая к нему, общество поступает справедливо, так как иначе оно не могло бы существовать. Но мы не имеем права обвинять и преступника, ибо он стал таковым благодаря сцеплению совершенно не зависящих от него обстоятельств. Кетлэ вполне справедливо замечает, что „общество подготавливает преступление, а преступник есть только его орудие“. А если это так, то неужели же Всеведущий Творец станет наказывать нас за совершенное нами?»

«Почему вы знаете, что есть жизнь после смерти?» – «Знать это нельзя, – отвечал Бокль, – но наш инстинкт заставляет верить в это». «А что вы думаете относительно судьбы нашего самосознания, нашей личности там, за гробом?» – «Я верю, что содеянное нами на земле окажет свое влияние и там, но мне кажется, что после смерти должно исчезнуть всякое различие между умом гения и идиота. Идиотизм, глупость, невежество – все это болезни, источник которых – наше тело. Если разум действительно бессмертен, ничто в действительности не может расстроить его...»

Сберегая место, я должен ограничиться этими немногими образчиками разговоров Бокля, хотя мог бы привести их в значительно большем количестве. Собранные вместе, они составили бы ценное дополнение к «Истории цивилизации», хотя едва ли скажут нам что-нибудь особенно новое. Мысль Бокля, глубокая и настойчивая, не отличалась, однако, ни

разнообразием, ни легкостью. Он вытягивал свои заключения, точно проволоку из куска стали, и никогда не отступал от однажды принятых им принципов. Он в своих общественных, нравственных и политических воззрениях всегда был прагматиком и англичанином до мозга костей. Из всех систем воспитания он считал совершеннейшей ту, которая наиболее обеспечивает физическую и духовную свободу и самостоятельность ребенка; из всех систем государственного устройства его привлекала больше всего английская. Он был защитником свободы торговли, печати, слова и – нечего даже говорить – религиозных убеждений. Он верил, что по мере того, как наука обращает в прах суеверия и предрассудки, вражда между народами и воинственный дух должны слабеть и постепенно атрофироваться. Национальный узкий эгоизм он считал одним из главных тормозов развития и радостно приветствовал первую Всемирную Парижскую выставку. Правительственный деспотизм в любой форме возмущал его. Когда Наполеон III раскрыл свои карты и стал ссылать на галеры всех, кто осмеливался не считать его правление торжеством «свободы и незабвенных принципов 1789 года», Бокль не желал более посещать Франции. «Меня оскорбляет судьба великого и передового народа», – говорил он с искренней грустью. Один из немногих англичан, он осуждал Севастопольскую кампанию, считая общеевропейскую войну в середине XIX века чем-то уродливым и отвратительным.

Более подробное изложение взглядов Бокля на этот последний важный пункт, полагаю, не затруднит читателя:

«Каждое важное приобретение в области знания, – говорит он, – усиливает авторитет умственно трудящихся классов, увеличивая запас средств, которыми они могут располагать. Но между этими классами и военным сословием существует явный антагонизм: это антагонизм между мыслью и делом, между внутренним и внешним, между доказательством и насилием, между силой убеждения и физической силой – короче говоря, между людьми, живущими мирным промыслом, и людьми, живущими войной. Следовательно, все, что благоприятно одному из этих классов, очевидно неблагоприятно другому. Предполагая, что все другие обстоятельства в одном и том же положении, можно смело сказать, что по мере того, как умственные приобретения известного народа увеличиваются, его расположение к войне уменьшается,

и наоборот, если умственные силы весьма ограничены, то расположение к войне весьма сильно. У совершенно диких народов чисто умственных приобретений вовсе не бывает; для них дух представляет сухую, бесплодную пустыню, и потому возможна только внешняя деятельность; у них единственное достоинство – личная храбрость. Человек не имеет никакого значения, пока не убьет хотя бы одного неприятеля, и чем больше он убил себе подобных, тем большим он пользуется весом. Вот совершенно дикое состояние, вот та степень человеческого развития, на которой более всего ценится воинская отвага и более всего уважаются воины. От этого ужасно низкого состояния до высоты цивилизации ведет длинный ряд ступеней; на каждой из ступеней физическая сила теряет часть своего владычества и несколько усиливается владычество мысли. Медленно, один за другим, возникают мыслящие, мирные классы; сперва воины глубоко презирают их, но мало-помалу они ободряются, возрастают числом и крепнут силой и с каждым шагом вперед ослабляют старый воинственный дух, которым прежде поглощались все другие стремления. Торговля, мануфактуры, законы, дипломатия, литература, науки, философия – все это было прежде неизвестно, теперь же каждый из этих предметов становится специальностью особого класса людей. Каждый класс отстаивает важность своих занятий. Из этих классов некоторые, конечно, менее миролюбивы, чем другие, но даже и те, которые наименее отличаются этим качеством, все-таки более расположены к миру, чем люди, у которых все мысли направлены к войне и которые видят во всякой новой распри возможность отличиться, вовсе не существующую для них в мирное время».

Воинственный дух и нетерпимость – вот мрачные силы, стоящие на дороге цивилизации, вот ее главный тормоз. Поучительно, что Бокль, этот кабинетный человек, вышел однажды из своего уединения и переменял перо историка на перо памфлетиста, когда на глазах всего английского общества грубо и дерзко была поругана веротерпимость. Я говорю о когда-то громком деле судьи Кольриджа, – деле, на котором и нам не мешает остановиться.

Читая и перечитывая как-то книгу Милля «О свободе», Бокль натолкнулся на такую фразу: «Ни одна европейская страна не

может еще похвалиться тем, что вполне и безусловно держится великого принципа веротерпимости. Преследования за веру и убеждения, хотя и редкие сравнительно с предшествовавшими веками, все еще повторяются довольно часто. Даже Англия, гордящаяся своей свободой, не составляет исключения. Еще очень недавно провинциальные газеты сообщали, что в Корнвалисе некто Пули был приговорен судьей Кольриджем к восемнадцатимесячному аресту за пропаганду мнений, показавшихся судье еретическими...»

Эта фраза поразила Бокля. Хорошо зная Милля, он не допускал даже мысли, чтобы тот бросал слова на ветер или без полного убеждения в истинности своих слов. Но вместе с этим факт преследования казался ему настолько чудовищным, что он отказывался верить ему. Несколько успокоившись на мысли, что газеты ввели в заблуждение Милля, он решился, однако, расследовать историю, очевидно, незнакомый с мудрым параграфом, по которому никто не имеет права вмешиваться в дело, прямо его не касающееся.

Оказалось, что Милль был прав, и вот что разузнал Бокль.

Летом 1857 года один бедный чернорабочий по имени Фома Пули проживал в Лоскерде, зарабатывая себе пропитание поденщиной. Все знали его как человека трудолюбивого, честного и непьющего. Но, вместе с этим, образ жизни и некоторые поступки Пули были настолько странны и эксцентричны, что многие считали его не в своем уме. Несмотря на это, Пули пользовался расположением окружающих и любовью своего семейства, для которого он работал не покладая рук. Несомненно, что он был подвержен галлюцинациям. Между прочим, ему представлялось, что земля – живое существо, почему он и отказывался слишком глубоко запускать заступ, уверяя, что таким путем он может прорвать кожу «общей матери» и причинить ей боль. Если бы это случилось, обиженная земля должна была поглотить все реки, ручьи, потоки, и людям не оставалось бы ничего, как умереть от жажды. Кроме того, больному воображению Пули казалось почему-то, что стоит только сжечь Библию, рассеять пепел по полям, и в таком случае прекратится гниение картофеля. Библию и христианство он ненавидел со всем фанатизмом безумия. Вредного влияния он, однако, не оказывал ни на кого. Его невежество, путаница его мыслей бросались всем в глаза, его проповедей не слушали, так как считали их бредом сумасшедшего. Что же касается до фермеров, то они охотно брали Пули к себе в работники, ценя его мускулы и воловью неумоимость.

Однажды Пули, раздобыв кусок мела, написал на чьих-то

воротах несколько бессмысленных слов, которые должны были, по его мнению, объяснить таинственную связь между сожжением Библии и прекращением картофельной болезни. Тем же путем бедняга объяснил, что ненавидит христианство. Местный священник не преминул донести о таковой ереси, а чиновник, тоже из духовного звания, заключил Пули в тюрьму.

Пули предстал перед судьей. Ему не дали защитника, зато прокурор произнес длинную речь о вреде ереси. Все присутствовавшие на разбирательстве заметили, что обвиняемый говорит путаницу, держит себя странно и, очевидно, плохо понимает, где он и что он. Только на одного судью Пули произвел впечатление совершенно здорового и нормального человека, почему и был приговорен к полуторогодичному тюремному заключению. Имя судьи – мистер Кольбридж.

Бокль вступился за несчастного сумасшедшего. В горячей статье напал он на судью и требовал, чтобы дело было пересмотрено. «Никто не может поручиться, – писал он, – что преследования за веру не возродятся когда-нибудь с прежней силой. Поэтому мы должны быть особенно внимательны ко всем случаям, где поднимается вопрос о религиозных убеждениях; мы должны отстаивать эту свободу, несмотря ни на что, чтобы общество привыкло, наконец, считать ее безусловной и ненарушимой, а посягновение на нее диким и гнусным».

Бокль повторяет лучшие аргументы Локка в защиту веротерпимости. Их же находим мы и в «Истории цивилизации».

«Что гонение за веру, – говорит он, – есть большее зло, чем всякое другое, это уже доказывается огромным, почти невероятным числом известных жертв его; но к этому должно прибавить, что неизвестные жертвы, вероятно, еще многочисленнее и что история не сообщает нам никаких сведений о тех, кто избежал наказаний телесных, с тем чтобы подвергнуться истязанию душевному. Мы много слышим о мучениках и исповедниках, о тех, которые были умерщвлены мечом или сожжены на огне, но почти ничего не знаем о гораздо большем числе тех, которые одной угрозой гонения были доведены до наружного отречения от своих убеждений и, принужденные таким образом к отступничеству, которого ужасалась их душа, провели остальную жизнь свою в постоянном унижительном лицемерии. В этом именно заключается настоящее зло религиозных гонений. Когда люди бывают вынуждены таким образом маскировать свои мнения, в них

образуется привычка достигать безопасность себе посредством обмана и покупать безнаказанность ценою лжи; для них ложь становится одной из ежедневных потребностей, а лицемерие – одним из обычаев; общий дух и образ мыслей нации подвергается порче, и сумма существующих в ней пороков и заблуждений страшно увеличивается. Следовательно, мы имеем полное право сказать, что в сравнении с этим злодеянием все другие являются маловажными, и мы должны быть глубоко благодарны успехам умственного развития, прекратившим это зло, которое, однако, многие желали бы возобновить».

Бокль с презрением отвергает защиту Кольриджа, основанную на том, что судья действовал искренно, в полном убеждении своей правоты. «Тем хуже, – говорит он, – если он не сумел отличить больного от здорового, если он на самом деле думал, что бред о Библии, уничтожающей картофельную болезнь, может повредить благосостоянию общества и заслуживает строжайшего надзора, – значит она невежда. А невежды тем вреднее, чем искреннее». Бокль писал:

«Наказать даже одного человека за его религиозные убеждения есть, конечно, одно из самых страшных злодеяний в мире; но наказать огромное количество людей, преследовать целую секту, пытаться искоренить мнения, которые, проистекая из самого состояния общества, служат лишь проявлением дивной и роскошной производительности человеческого ума, – все это составляет не только одно из самых вредных, но и одно из самых безрассудных дел, какие только мы можем себе представить. Тем не менее, несомненный факт, что огромное большинство лиц, воздвигавших гонения за религию, были люди с самыми чистыми намерениями, с самой высокой и безукоризненной нравственностью. Невозможно даже, чтобы это было иначе. Нельзя считать неблагонамеренными людей, старающихся навязать кому-нибудь убеждения, которые они считают хорошими. Тем менее можно назвать дурными людей, которые без всякого земного расчета употребляют все средства своей власти не для своей пользы, но для распространения религии, которую считают необходимой для будущего благоденствия человечества. Таких людей не должно считать дурными, а только невежественными, не знающими ни свойств истины, ни

последствий своих поступков. Но с нравственной точки зрения побуждения, которым они следуют, безукоризненны. Действительно, их возбуждает к преследованию сама искренность их убеждения. Именно святое усердие, одушевляющее их, возбуждает их фанатизм к небесной деятельности. Если вы внушите какому-нибудь человеку глубочайшее убеждение в великом значении какого-нибудь нравственного или религиозного учения, если вы уверите его, что все, отвергающие это учение, осуждены на вечную гибель, если вы затем облечете этого человека властью и, пользуясь его неведением, ослепите относительно дальнейших последствий, он непременно будет преследовать всех, отрицающих его учение, и энергия, которую он проявит в этом преследовании, будет соразмерна искренности его убеждения, убавьте искренности – и ослабится преследование; другими словами, ослабив добродетель, вы можете уменьшить зло».

Бокль добился своей цели: дело Пули было пересмотрено, и несчастного автора теории о влиянии Библии на картофельную болезнь выпустили на свободу.

Но вот любопытная черта для характеристики английского общественного мнения. Довольно долгое время оно было скорее против Бокля, чем на его стороне. Бокля обвиняли в излишней страстности, в том, что он нападает на личность судьи и позволяет себе непочтительно относиться к его мантии. Но от таких людей, как Милль, Бокль, разумеется, не получил ничего, кроме самых искренних поздравлений.

Вернемся теперь ненадолго к воспоминаниям мистрис Гёз.

«...Мы пригласили Бокля провести несколько дней у нас в Сан-Леонардо, на что он охотно согласился, так как был совершенно свободен: по случаю праздников печатание второго тома его „Истории“ было приостановлено. Разумеется, мы приложили все старания, чтобы сделать пребывание Бокля возможно приятным. Мы отдали в его распоряжение верх, чтобы он не чувствовал ни малейшего стеснения. Запас его любимой бумаги и перьев лежал на столе. Но Бокль даже не дотронулся до них. Почти все время он проводил с нами, только гулял один, что было его неизменной привычкой и даже потребностью. Во время прогулки он обдумывал свои будущие работы и не любил, чтобы ему мешали в этом. Здоровье его было (в 1861 году) очень слабо, и, проговорив час, он чувствовал себя совершенно утомленным и

почти готовым упасть в обморок.

Разнообразие его знаний было поразительно. О чем бы ни начинался разговор, Бокль всегда принимал в нем самое деятельное участие и вел его. По вечерам он любил говорить о поэзии. «Ричарда II» он считал лучшим созданием Шекспира и однажды прочел нам на память весь знаменитый монолог: «No matter where, of comfort no man speak». Читал он очень хорошо, в высшей степени просто и проникновенно.

В веселом настроении духа он рассказывал бесчисленные анекдоты. Запас его был неистощим и постоянно пополнялся чтением французских мемуаров.

Особенно охотно беседовал он о воспитании. Особенное внимание советовал он обращать на физическое развитие ребенка и на то, чтобы он никогда не чувствовал переутомления – величайшей школьной язвы. Положение институтов и школ для девочек он считал ниже всякой критики. Главная беда для девочек заключается в том, что их воспитание и образование находится в руках старых дев, которые с ужасом отрешиваются от всего, что чуть-чуть выше посредственности. «Однажды, – рассказывал Бокль, – я в день именин N, шестнадцатилетней мисс, подарил ей полное собрание пьес Мольера. К величайшему моему изумлению, Мольер был возвращен при вежливой записке директрисы, что чтение *таких* книг она никоим образом допустить не может. «Какие же вы можете допустить?» – полюбопытствовал я. Мне дали целый список второстепенных поэтов. Между тем, разве Шекспир и Мольер, Байрон и Спенсер могут принести какой-нибудь вред? Наши школьники свободно читают их, и если их нравственность извращается порою, то уж никак не от этого».

Постоянное в то время «движение труда» привлекало к себе внимание Бокля. Он полагал, что рабочие классы будут существовать всегда, но что положение их значительно улучшится благодаря повышению заработной платы. В настоящее время неравномерность распределения богатств поразительна. Несправедливо, что кто-нибудь имеет две тысячи фунтов стерлингов годового дохода, а его горничная только двадцать. Но в этой области прогресс может быть осуществлен лишь медленными усилиями и медленным, постепенным ростом заработка.

В подобных разговорах проходили наши вечера. Через неделю Бокль распростился с нами и уехал в Лондон, чтобы надолго, с головой, уйти в свои корректуры».

Глава V. Последний год жизни

Как ни напрягал Бокль свои силы, их не хватило для третьего тома «Введения», где он намеревался изложить историю цивилизации Германии и Америки. Как бы торгуясь со своей болезнью и слабостью, он согласился работать только два часа в сутки; он как бы вымаливал у судьбы эти два часа ежедневных занятий, но и это оказалось невозможным. Доктора категорически потребовали, чтобы он несколько месяцев посвятил полному и безусловному отдыху. Пришлось подчиниться.

В субботу, 20 октября 1861 года, Бокль, одетый в свой любимый, толстого сукна, старомодный сюртук, сел в Саутгемптоне на пароход, шедший в Александрию. Целью путешествия были Египет и Палестина. Бокль ехал не один: он взял с собой в путешествие двух мальчиков, детей мистера Гёза.

Поездка по Нилу удалась как нельзя лучше. Бокль мало читал, ничего не писал, кроме писем, собирал коллекцию всяких редкостей, наслаждался оригинальными видами. Он поправился быстро, заметно. «Я чувствую себя так хорошо, – писал он своим друзьям в Англии, – как давно уже, целые годы, не чувствовал. Голова полна мыслями, я сам – сознанием, что живу. Я встаю аккуратно в 6 часов утра и жалею лишь о том, что день так скоро проходит: здесь столько такого, о чем надо подумать, что надо повидать».

Между прочим он занимался с детьми и находил в этих занятиях большое удовольствие.

«Путешествие по Нилу, – писал он мистеру Гёзу, – хотя и медленное, не было, однако, скучным, так как у нас были полные руки дела. С удовольствием могу сообщить, что мальчики очень заботятся о своем образовании и без всякого понукания с моей стороны читают столько, сколько мне это желательно. Чтобы разнообразить впечатления, мы ежедневно два раза останавливаем лодку и выходим с конвоем на берег, где и гуляем. Вечером я разговариваю с детьми о том, что они видели и читали, разъясняю им незнакомое и стараюсь, чтобы они обо всем составляли самостоятельное мнение. Их запас исторических и географических фактов уже очень велик. Но накопление фактов – не моя цель: я хочу научить их смотреть на жизнь с самой широкой и высшей точки зрения, которую только допускают их возраст и способности. Это главное, кроме, разумеется, здоровья. Изустно я преподаю им анатомию и физиологию...»

Так проходили дни и недели. Скоро, благодаря встретившимся по дороге англичанам и американцам, компания

увеличилась, и Бокль мог полностью наслаждаться излюбленным своим развлечением – table talk – застольными беседами. С удовольствием говорил он целыми часами о прошлом Египта, Сирии, Иудеи. Находившиеся в обществе три священника в конце концов возненавидели его за еретические мнения о пророке Ионе и о многом тому подобном и отказывались даже сидеть с ним за одним столом. С большим искусством и большою настойчивостью дразнил Бокль почтенных патеров...

В марте 1862 года он чувствовал себя прекрасно, и все общество отправилось из Каира в Синай. «Поправив свое здоровье шестинедельным странствованием по пустыне, – сообщает мистер Гюк, – он предпринял более утомительную поездку верхом по Месопотамии. Вследствие же пылкости характера или – что вернее – под влиянием нервной раздражительности, он не берег свои силы, и хотя 27 апреля уверял нас, что чувствует себя как нельзя лучше, но в тот же день открылась у него диарея; кроме того, он жаловался на боль в горле, и мы принуждены были с неделю жить в лазарете.

После этого его прежняя бодрость, удивлявшая нас в пустыне, не возвращалась более, и мы пробыли два лишних дня в Силоне, а потом поехали более спокойной, хотя и менее интересной, дорогой в Дамаск. Когда при выходе из горного ущелья восточного склона Антиливана перед нами открылась великолепная картина знаменитой долины, Бокль воскликнул: «Ради этого стоило бы перенести более страданий и усталости!» Увы! Он не знал, какой ценой придется ему заплатить за это удовольствие. Излишняя усталость снова вызвала припадок диареи. Доктор прописал ему прием опиума. Как ни мал был этот прием, Бокль, по слабости своего организма, впал в беспамятство и пролежал четверть часа. Грустно и тяжело было слышать, как в его бреду между несвязными словами слышались восклицания: «Книга! Моя книга! Я никогда не кончу моей книги!» Француз доктор, лечивший его, не только успокаивал больного, но даже сказал мне наедине, что опасности нет, но все-таки советовал лучше не ехать в Бельбек через Ливанские горы и возвратиться в Бейрут по французскому шоссе. На основании уверений доктора, что Боклю лучше, я 21 мая расстался с ним (в чем теперь горько раскаиваюсь), надеясь встретить его в Бейруте совершенно здоровым и готовым продолжать путешествие в Грецию и Турцию. Считаю лишним говорить о том, как я был поражен вчера, 31 мая, услышав в английском посольстве, что в тот же день, как я выехал из Дамаска, у Бокля случилась тифозная горячка, после чего он потерял сознание и 29-го умер».

Бокль похоронен в Дамаске – городе, видеть который он

стремился еще с детства. Над его могилой лежит большая мраморная плита с надписью:

Памяти

Генри Томаса Бокля,

единственного сына покойного Томаса

Генри Бокля и его жены Джен. Умер

от лихорадки в Дамаске 29 мая 1862 г.

40 лет от роду.

Заключение

Вопрос о законах истории настолько сложен, что я считаю необходимым посвятить ему в заключение несколько страниц, так как нечего и говорить, что в стремлении сформулировать эти законы и заключается главная заслуга Бокля.

«Наука идет далее знания. Она вырабатывается из него, когда бесспорные факты группируются в законы. Знание, не способное установить законы, вовсе не есть наука. Одно из двух: или в истории можно открыть законы, или она не допускает научной обработки».

«Здесь первостепенную важность получает то обстоятельство, что науки, по отношению к законам, в них устанавливаемым, распадаются на два весьма различных разряда. В каждом из этих разрядов законы имеют особенный тип, и отыскивать закон одного типа в науках, относящихся к другому разряду, совершенно напрасно, это не мешает в последних существовать законам соответственного им типа. Разница этих двух разрядов наук, как разница соответствующих им типов законов явлений, вытекает сама собой из той разницы, которая *для нас* существует в изучаемых здесь и там явлениях».

«Камень падает, железная полоса гнется, нагревается и охлаждается, ржавеет; пища переваривается; ощущение перерабатывается в представления и понятия; в обществе усиливается и слабеет солидарность между личностями, происходит обмен услуг и мыслей. Все это совершалось и будет совершаться в пределах наших наблюдений, пока были и будут камни, железные полосы, органы пищеварения, существа, способные чувствовать, сближения людей в общества. Характеристический для нас признак, общий всем этим явлениям, – их *повторение*. Мы и подразумеваем их всех вместе под термином явлений повторяющихся, и этот-то характер повторяемости явлений дал нам особый разряд наук и в них особый тип отыскиваемых и устанавливаемых законов».

«Но мы наблюдаем и явления, лишенные только что указанного характеристического признака повторяемости. Цыпленок вылупляется из яйца и никогда уже не вернется к тем формам, которые он имел

в яйце. От этого момента в прошлое тянется ряд форм, которые он пережил и более пережить не может. От этого же момента до смерти птицы (допуская, что эта смерть будет естественной) тянется новый ряд форм, которые опять для этой особи появляются лишь однажды и никогда более. Внимательный ученый убеждается, что ряд этих форм представляет не случайность, а необходимую последовательность. Каждая из них подготавливает форму, за ней следующую, и сама подготавливается предыдущей. Этот ряд научных фактов может быть сгруппирован в определенный закон *необходимой последовательности* сменяющих друг друга форм, в определенный закон *развития*. И для каждого организма – для медуз, для муравья, для человека – мы находим такой же закон, вполне научный, но несколько не похожий по типу на законы физики или физиологии. В этих законах развития различных организмов ученые открывают результат действия законов повторяющихся явлений, но этот результат есть все-таки закон совершенно иного типа, закон последовательности членов ряда неповторяющихся явлений. Частные законы развития организмов каждого вида наука стремится обобщить в еще меньшее число законов развития отдельных классов организмов, наконец, в еще более широкий закон развития животных вообще, но это все законы того же типа, несколько не сходные с законами повторяющихся явлений».

«В приведенных примерах *проверка* законов облегчалась тем, что одинаковые организмы мы наблюдаем в многочисленных экземплярах, и фазис, недоступный наблюдению в одном из них, отмечаем при исследовании другого. Но это – технический прием изучения и ничего общего с характером отыскиваемого закона не имеет. Этот закон мы понимаем как совершенно одинаковый для организма данного вида, существует ли последний в одной особи или в нескольких сходных экземплярах».

Действительно, трансформисты в настоящее время ищут закон подобного же типа для развития органического мира в его целом, хотя эта эволюция организма представляется мыслителю в единственном экземпляре, о котором трудно даже допустить, чтобы сходный с ним экземпляр эволюции организмов мог иметь место на каком-либо другом небесном теле. Закон этого развития,

вследствие единственности экземпляра, на котором он изучается, открыть несравненно труднее, чем закон развития мотылька в его метаморфозах, но научная задача совершенно та же в обоих случаях. На определенной ступени появились четырехкрылые насекомые, и, раз появившись, они уже никогда не могли вернуться к тем формам, через которые прошли ранее, каковы бы эти формы ни были. Точно так же на другой ступени: из животного, принадлежащего к классу приматов, выработался питекантроп, и он никогда не вернется к форме обезьяны, бывшей его предком, никогда не обратится в гориллу и даже не проявит той комбинации физико-психических свойств, которой обладал его предок, впервые обделавший камень в топор. Не скоро наука установит закон для развития органического мира, такой же точный, как для эмбриологии цыпленка, но этот закон, насколько он известен в некоторых чертах, столь же научен, как последний, и совершенно одинакового с ним типа.

Итак, *неповторяемость* явлений никоим образом не может служить доказательством невозможности законов истории. Да и что, собственно, в мире повторяется в абсолютной тождественности самому себе? Падение камня, нагревание воды, рождение цыпленка, созревание плода на дереве, создание поэмы художником – совершается каждый раз при особых, своеобразных условиях температуры, тяжести, плотности воздуха и т. д. Абсолютных величин, абсолютной тождественности явлений, абсолютной повторяемости в природе нет. Скорость движения солнца или земли изменяется с каждым бесконечно малым промежутком времени и является величиной лишь приближительной, а не математически неизменной.

«Если, – говорит Бокль, – человеческие действия не основаны на прочных законах, то должны быть обязаны своим происхождением случаю или сверхъестественному вмешательству». Вся история превращается в калейдоскоп бессвязных фактов, если мы допустим мысль, что нет специальных исторических законов. Но что же мешало до сих пор открытию этих последних? Оправдывающих и ослабляющих вину обстоятельств много:

1. Сложность исторических явлений.
2. Культ героев и отдельных личностей.
3. Суд над историей, так как до сей поры ни один из историков все еще не хочет отказать себе в удовольствии фигурировать в роли Миноса или Радаманта.

История, правильно понятая, есть *наука развития общественных форм*. По предрассудку, сохранившемуся еще со времен греков, ее начинают обыкновенно одни с появления

письмен и сознательного отношения человека к окружающей его обстановке, другие – с образования государства. Почему установлена такая неопределенная грань между одной половиной жизни человечества и другой – это секрет, ставший, однако, как бы догматом. «История начинается с появления государства», – говорит, например, Вебер, но напрасно читатель станет перелистывать его объемистую «Weltgeschichte», чтобы узнать основания этого мифического изречения. Государство – лишь ступень общественной жизни, ступень очень неопределенная, закраины которой можно черно затушевывать лишь у себя в кабинете. Историки устанавливают эту эру с таким же основанием, как Магомет свою собственную. У каффров и готтентотов также есть история, как у англичан и французов, так как у них есть сознание и смена общественных форм. Каждая общественная форма представляется как момент развития, подготовленный рядом предшествовавших моментов общежития и подготавливающий дальнейшие формы культуры. Поэтому-то для историка важнейшими вопросами являются: во-первых, из каких общественных форм могло развиться и действительно развивалось данное общежитие; во-вторых, какие формы культуры оно могло выработать и действительно выработало. Разнообразие внешних влияний, обуславливающих появление тех или других подробностей общежития, тех или других частных культур, значительно усложняет развитие истории, вызывая почти на каждом шагу сомнения, которые навсегда остались бы неразрешимыми, если бы не исчезло (хотя и далеко не вполне) прежнее биографическое направление – этот уродливый культ героев, от которого несвободны даже такие великие умы, как Гёте, Гегель, Карлейль и т. д.

Развитой историк наших дней, наравне со специалистами любой отрасли, может понимать мир в совокупности его явлений лишь как подлежащий безусловному детерминизму, иначе он ежеминутно будет наткаться на случайности и чудеса, в сетях которых немедленно же и запутается. Механическая необходимость определяет столь же непрерываемо мысли и чувства особи, исторические провалы народов, как вращение планет, скорость движения и путь каждой капли водопада и изменяемость видов растений и животных. Если же это так, то настанет пора, когда нравственная оценка того или другого исторического процесса будет представляться такой же странной, как если бы в химии мы прочли: «При таких обстоятельствах мужественный кислород, восчувствовав горячую дружбу к нежному и томному водороду, решился слиться с ним воедино и, воспользовавшись услугами благодетельной волшебницы

температуры, породил воду».

Ничто, разумеется, не может нас заставить быть равнодушными к ужасам инквизиции, например, но ненависть к ним относится к области морали, этики; истории же нечего здесь делать. Историк, собственно, должен признавать лишь один критерий – *необходимость*; если он точно, ясно, неопровержимо доказал, что такое-то явление по необходимости было обусловлено такими-то и такими действительными признаками, он исполнил свою научную роль. Как ни приятна роль Радаманта, от нее надо отказаться – или же продолжать ту недостойную канитель, которая под именем истории служила до сих пор интересам партий, вероисповеданий, возвеличиванию отдельных личностей.

Основой всякого научного понимания истории может и должно быть всегда самое строгое и широкое приложение методов объективных исторических знаний и объективной исторической критики, устанавливающей точную степень вероятности каждого исторического факта в его отдельности и совместимости с другими. Поэтому в научном понимании истории нет и не может быть места никакому субъективизму – ни логическому, ни нравственному. Мы обращаемся к истории с вопросами: *что было, как было*, что предшествовало и что неизбежно следовало, а не за тем, чтобы узнать, благородные или неблагородные поступки совершались в таком-то столетии. И раз ответ на поставленные вопросы станет обязательным для историка – мечта Бокля сбудется, а книга его будет дописана, хотя и не его рукой.

Источники

1. *Henry Thomas Buckle*. Works.
2. *Alfred Huth*. Life and Writings of H. Th. Buckle.
3. *Longmore*. Reminiscences of Buckle. Atheneum, January 1875.
4. *Ch. Kale*. Personal Reminiscences of the late H. Th. Buckle. Atlantic Monthly, 1863.
5. Biographical Sketch of Buckle. «Frazers Magazine» for September 1862.
6. Droysen's Grundriss der Historik: «Erhebung der Geschichte zum Rang einer Wissenschaft».
7. *Flint*. The Philosophy of History.
8. *Glennie*. Mr. Buckle in the East. «Frazers Magazine», 1863.
9. *Idem*. Pilgrim Memories, London, 1875.

notes

Примечания

Розга (*лат.*). Здесь: гнетущий и бдительный надзор.

от фр. tuteur – опекун

«Размышления об искусстве и науках» (фр.)

Любопытно, между прочим, что одна из гениальных комедий французской сцены – «Свадьба Фигаро» – появилась благодаря личному раздражению и обиде ее автора, Бомарше.

«Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!»

Конт, между прочим, предоставлял управление светскими делами банкирам.

Осенок – специальный «пробирный» камень для проверки качества золота или серебра.

Справедливый к самому себе – наисправедливейший.

Любопытно, что Писарев, проводя в своих статьях *буквально* те же взгляды, удостоился высокомерно-презрительного отношения со стороны наших критиков, которые, вместо того, чтобы изучать дух эпохи, удовлетворяются насмешками над случайно вырвавшимися в пылу журнальной работы парадоксами. Или они и Бокля назовут «мальчишкой»? Это было бы интересно.